

Владимир
САНИН



СЕМЬДЕСЯТ ДВА
ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ

Русская проза

Русская проза (Вече)

Владимир Санин

**Семьдесят два градуса
ниже нуля (сборник)**

«ВЕЧЕ»

1972, 1978

Санин В. М.

Семьдесят два градуса ниже нуля (сборник) / В. М. Санин —
«ВЕЧЕ», 1972, 1978 — (Русская проза (Вече))

ISBN 978-5-4484-7091-2

Антарктической станции «Восток» грозит консервация из-за недостатка топлива. Отряд добровольцев под руководством Ивана Гаврилова вызывается доставить туда топливо со станции «Мирный», но в это время начинаются знаменитые мартовские морозы. В пути выясняется, что топливо не было подготовлено и замерзает, его приходится разогревать на кострах. Потом сгорает пищеблок... В книгу известного писателя, путешественника и полярника Владимира Марковича Санина (1928–1989) вошли повести «Семьдесят два градуса ниже нуля» (экранизирована в 1976 году, в главных ролях – Николай Крючков, Александр Абдулов, Михаил Кононов и др.) и «За тех, кто в дрейфе», действие которых основано на подлинных драматических событиях, развернувшихся на полярных станциях в Антарктиде и Арктике. Автор жил и трудился бок о бок со своими героями, что позволило ему создать яркие и правдивые образы этих замечательных людей.

ISBN 978-5-4484-7091-2

© Санин В. М., 1972, 1978

© ВЕЧЕ, 1972, 1978

Содержание

Семьдесят два градуса ниже нуля	6
Вступление	6
Синицын	7
Гаврилов	11
Свобода выбора	15
Загустевшая кровь	19
Пожар	22
Ленька Савостиков	25
Валера Никитин	32
Объяснение	39
Василий Сомов	44
Три часа на размышление	49
Синицын	53
Ночь нарушенных инструкций	58
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Владимир Санин
Семьдесят два градуса ниже нуля (сборник)

© Санин В.М., наследники, 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

* * *

Семьдесят два градуса ниже нуля

Железным людям – походникам Антарктиды

Вступление

Поезд шел по Антарктиде.

Шесть запряженных в сани тягачей во главе с «Харьковчанкой» двигались по колее, утрамбованной поездами предшественников. Наступавшая ночь покрывала Антарктиду сумерками. Оттого снег, еще несколько часов назад ослепительно белый, окрасился в темно-серые тона. Темно-серыми были тягачи, и колея, и небо над головою, и миллионы квадратных километров уходящего в ночь материка. Лишь искры, вылетающие из выхлопных труб тягачей, да звезды, тусклый свет которых изредка пробивал нависшие над ледяным куполом облака, позволяли увидеть оранжевые бока «Харьковчанки» и причудливо раскрашенные стены балков.

Это был самый обычный санно-гусеничный поезд. Такие из года в год бороздят Антарктиду, доставляя грузы из Мирного на Восток и возвращаясь обратно. Полторы тысячи километров в один конец, сорок дней пути туда, дней тридцать обратно – вот и все дела. Тяжелая дорога, но давно протоптанная, до метра знакомая.

Однако никогда еще поезд не возвращался с Востока в полярную осень.

Все когда-нибудь делается в первый раз. Кому-то судьба быть первым. Так было испокон веков: кто-то должен начать, испытать на себе, открыть. Вот и получилось, что десять человек на «Харьковчанке» и еще пяти тягачах первыми пошли по Антарктиде в полярную осень.

Вздвигнув всем телом, остановился один тягач, за ним другой и все остальные. К заглохшей машине подтягивались люди.

Они двигались тяжело и медленно, как-то скособо́чась. Но ничего странного в такой походке не было: быстро ходить по ледяному куполу не стоит – кислорода в воздухе как на вершине Эльбруса, и воздух этот сух, как в африканской пустыне. А скособо́чась они шли потому, что хотя их лица и были закрыты подшлемниками, так что виднелись лишь щелки глаз, все равно ветер пламенем обжигал кожу.

Люди остановились у тягача, негромко переговариваясь. Осмотрели, не торопясь, заглохший дизель, выяснили, что лопнул дюрит – резиновая трубка маслопровода. Принесли новый дюрит, заменили лопнувший. Потом посоветовались и приступили к операции. Отвернули горловину цистерны и стали черпать оттуда густую массу, похожую на перенасыщенный крахмалом кисель. Набрав этой массы полбочки, разожгли из горбыля костер и поставили бочку на огонь. Спустя некоторое время масса начала таять, и от нее потянуло запахом солянки; тогда в бочку вставили одним концом шланг, а другой его конец сунули в топливный бак тягача.

Двигатель не успел по-настоящему остыть, и его запустили быстро, за час. Затем разошлись по своим тягачам и снова двинулись в путь. Впереди «Харьковчанка», за ней остальные машины.

От ближайшего жилья, станции Восток, их отделяло четыреста пятьдесят километров снежной пустыни. До Мирного, куда шел поезд, – тысяча.

Десять человек были одни во всем мире, одинокие, как на Луне. Никто на свете не мог им помочь: люди сюда не придут, самолеты не прилетят.

Столбик термометра застрял на отметке семьдесят два градуса ниже нуля...

Синицын

Под утро Синицыну приснилось, что он ведет трактор по припаю. «Бери влево! – слышит он. – Разводье!» Синицын начал лихорадочно орудовать рычагами, но всегда послушный его рукам трактор, яростно взревев, на полной скорости рванулся к свинцовой воде. «Прыгай! Прыгай!» – отчаянный крик. Но поздно: трактор с грохотом проваливается.

Синицын проснулся от своего сдавленного стога. Море штормило. В каюте было душно. Синицын отер со лба пот, поднялся с постели и подошел к окну. Баллов пять, не больше. Вдали по правому борту возвышался исполинский айсберг, длиной, наверное, с километр, слева простиралось ледяное поле. Скука... Синицын взглянул на верхнюю полку, на которой похрапывал Женя Мальков, завистливо вздохнул и снова улегся.

Не так он представлял себе первые дни возвращения домой.

Впрочем, подумал он, мечты всегда краше действительности. Три раза зимовал он в Мирном, и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом человеческого счастья. Да разве только ему? Всем. Но возвращаться приходилось на «Оби», которая из Мирного отправлялась сначала по остальным станциям – разгружаться и менять зимовщиков, забирать сезонников, и дорога домой растягивалась на два с половиной месяца. Поневоле осатанеешь. Правда, сейчас Синицын возвращался на «Визе», но это тоже сорок дней и сорок ночей.

Синицын закрыл глаза и принялся уговаривать себя заснуть. Всего два дня прошло, как закончилась самая тяжелая в его жизни зимовка. И самая неудачная.

А под конец зимовки природа сыграла с припаем злую шутку. Тридцатикилометровый припай дышал, лед расходился, чернел разводьями. А на берег нужно перевезти тысячу тонн груза! Будь Синицын аэрологом или геофизиком, спал бы себе спокойно и ждал, пока не поднимут на вахту. Но начальник транспортного отряда отвечает в разгрузку за все: за работу на льду, за людей, за погоду. И с него спросили – строгаи рубанком по живому телу. Почему не определил трассу раньше? Почему тракторы глохнут? Почему, почему?.. А потому! Будто не он еще до прихода «Оби» и «Визе» проводил дни и ночи на припае! Будто не его трактор провалился в трещину и не он, Синицын, чудом остался в живых! Попробуй определи трассу, если даже ученые-гидрологи не понимают, как это в декабре, когда припай должен быть бетонным, вдруг ни с того ни с сего начались подвижки льда! А что тракторы глохнут, предупреждал: техника на пределе, пора обновлять парк.

«Молодец, Синицын, – похвалил его тогда Макаров, помешивая в стакане ложечкой. – Язык у тебя подвешен хорошо, оправдался ты исключительно умело. Только зачем ты пошел в Антарктиду, Синицын? В тебе погиб великий адвокат. Плевако!»

И с легкой руки начальника экспедиции к Синицыну так и прилипло это прозвище.

Вот и засни... Чуть ли не месяц со своим сменщиком Гавриловым он искал трассу, а «Обь» все это время стояла, и капитан Томпсон, невозмутимый эстонец, холодно напоминал, что каждый день простоя обходится государству в пять тысяч и что поломанный график ставит под угрозу снабжение не только Мирного, но и остальных станций. Наконец трассу нашли. Страшная это была трасса... Восемь покрытых ненадежными мостами многометровых трещин, десятки снежниц, в которые тракторы погружались по брюхо... Да еще пурга, туманы... Коля Роцин не уберется, не успел соскочить на лед. Правда, в этой трагедии ни Синицына, ни Гаврилова никто не винил, все видели, что Коля самовольно срезал угол и пошел в стороне от трассы...

Вчера утром Синицын брился, увидел сизый клочок – память об этой трассе...

Последние недели он почти не спал. Так, забывался сном на два-три часа, потом вставал, накачивался крепчайшим кофе и снова на припай. Что ж, он сделал все, что мог, и даже больше. И посему имеет право спать сколько влезет. «Чем больше спишь, тем ближе к дому», –

вспомнил он изречение своего соседа. С Женькой ему повезло. Врач-хирург был весельчак и любимец Мирного, с ним легко и просто...

Ныло похуевшее тело, которое еще долго не отпустит от себя усталости, молил о покое мозг, а нелепо нарушенный сон так и не приходил. «Хорошо спят беззаботные и счастливые, а я как раз и есть такой, – уговаривал себя Сеницын, – беззаботный и счастливый, потому что все кошмары зимовки и разгрузки позади, и я возвращаюсь домой. А Даша хоть и начала отцветать, как положено от природы, но любить умеет по-молодому... Полтора месяца... Долго!»

И тут Сеницын с ужасающей ясностью ощутил, что уваливает от самого главного. И уваливает напрасно, потому что это самое главное засело в мозгу, как стальная заноза. Если эту занозу не вытащить, полного счастья не будет. И виной тому Гаврилов.

Достаточно было дать себе в этом отчет, как все стало на свое место. Упреки Томпсона Сеницын пропускал мимо ушей: капитан – опытный морской волк, здесь ему не повезло, там повезет, нагонит, войдет в график. Макаров? Неприятно, конечно, что пошлет вдогонку «телегу», замарает характеристику, но и этого Сеницын не боялся: такому инженеру-механику, как он, найти стоящую работу нетрудно. Только узнают, что в Москву вернулся, тут же начнут телефон обрывать. К тому же с Антарктидой кончено, свое он отзимовал.

Гаврилов – вот кто не давал Сеницыну покоя.

Память, не подвластная воле человека, сделала с Сеницыным то, чего он боялся больше всего, – перебрала его в 1942 год.

Он стоял на часах у штаба, когда комбат, сибиряк с громовым басом, отдавал приказ командирам рот. И Сеницын услышал, что батальон уходит, оставляя на высоте один взвод. Этот взвод должен сражаться до последнего патрона, но задержать фашистов хотя бы на три часа. Его, Сеницына, взвод, второй взвод первой роты! И тогда с ним, безусым мальчишкой, случился солнечный удар. Жара стояла страшная, такие случаи бывали, и пострадавшего, облив водой, увезли на повозке. Потом по дивизии объявляли приказ генерала и салютовали павшим героям, больше суток отбивавшим атаки фашистов. И тут командир роты увидел рядового Сеницына.

– Ты жив?!

Сеницын сбивчиво объяснил, что у него был солнечный удар и поэтому...

– Понятно, – протянул комроты и посмотрел на Сеницына.

Никогда не забыть ему этого взгляда! С боями дошел до Берлина, честно заслужил два ордена, смысл никем не доказанную и никому не известную вину кровью, но этот взгляд долго преследовал его по ночам.

А теперь еще и Гаврилов.

Сеницын его не любил. Было во всем облике, в поведении Гаврилова что-то вызывающее, раздражающее. Огромного роста, шумный, с вечно свисавшим на лоб всклокоченным чубом, Гаврилов повсюду, где он ни оказывался, вносил беспокойство. Он мог нагробить самому высокому начальству, бешено хлопнуть дверью, и ему все это сходило с рук. Однажды он трахнул кулачищем по столу капитана, да так, что треснула полированная доска, а Томпсон, которого моряки втихомолку называли «старым пиратом», лишь ухмыльнулся, налил две стопки и выпил с Гавриловым на брудершафт. Все прощалось ему за размах и ярость, с которой он набрасывался на работу.

В прошлом Гаврилов дважды был сменщиком Сеницына на посту начальника транспортного отряда. Но тогда дело обстояло по-иному. Сеницын возвращался из похода на Восток, похода, который списывал все. Гаврилов, конечно, крыл Сеницына за покалеченную технику, но дружелюбно. Грех изничтожать человека, прошедшего три тысячи километров самой трудной на земле дороги. Походников полярники уважали, походник имел право на льготы, как разведчик, вернувшийся из опасного рейда по вражескому тылу.

Но в эту зимовку Сеницына преследовали неудачи: два тягача вышли из строя, еще для двух других не оказалось запасных частей, и при таких условиях о своевременном походе на Восток не могло быть и речи. Причины вроде были уважительные, за несостоявшийся доход Сеницына никто вслух не обвинял, но от этого он не чувствовал себя лучше. Сам-то он знал, и его механики-водители знали, что в начале зимовки положение можно было исправить. Еще летали самолеты, а в Молодежной имелись запасные части. Да и ребята из механической мастерской, золотые руки, не раз предлагали заняться брошенными тягачами. С одного снять коленчатый вал, с другого главный фрикцион – смотришь, еще одна машина одета и обута. Не сделали, прохлопали, упустили время.

На Восток следует отправляться полярным летом, в начале декабря, чтобы вернуться в Мирный до мартовских холодов. Перед Новым годом «Обь» приходила в Мирный с новой сменой, разгружалась и шла в Австралию за овощами и мясом. В двадцатых числах февраля возвращались с Востока походники, и примерно к этому же времени возвращалась из Австралии «Обь». Она-то и увозила походников на Родину.

Так было всегда. Теперь из этой привычной цепи выпало одно звено. Отряд Сеницына уже не мог пойти на Восток: «Обь» не успеет забрать походников, а зимовать два года подряд в Антарктиде никому не разрешается. Значит, отряду Гаврилова придется идти в поход по маршруту Мирный – Восток – Мирный дважды: прямо сейчас, в конце января, и потом – в декабре.

Но это еще полбеды. Хуже то, что Гаврилов пойдет на Восток на полтора месяца позже, чем обычно. Значит, и возвращаться он будет тогда, когда по Центральной Антарктиде уже не ходит никто.

Сеницын ждал, что Гаврилов будет размахивать кулачищами, крыть его последними словами. Но Гаврилов, вникнув в ситуацию, повел себя чрезвычайно спокойно. Не ругался, не дергал себя за чуб, не хлопал дверью – ничего подобного не было. Он только улыбнулся нехорошей улыбкой, подмигнул и тихо сказал:

– Сработаем. Плыви спокойно домой... Плевако!

И его водители, которых Гаврилов брал с собой из года в год, обидно засмеялись.

Как в душу плюнул!

И еще...

На «Оби» прибыло два новых тягача. Их следовало переправить в Мирный, переправить во что бы то ни стало, без них нечего было и думать о походе. А проклятый припай еле выдерживал тяжесть и легких тракторов.

Кому-то нужно было гнать тягачи на берег.

Никто не говорил о них ни слова, но в этом молчании Сеницын слышал вопрос. Он не подготовил технику, сорвал поход и не нашел вовремя трассу. Поэтому первый тягач перегонять ему – так молчаливо решило общественное мнение.

Но Сеницын не хотел погибать. Он понимал, что это значит – гнать двадцатипятитонный тягач по припаю! Рискнуть в начале зимовки – на это он бы, наверное, пошел, но идти на смертельный риск сейчас, за миг до возвращения домой...

И Сеницын боялся смотреть на тягачи, как приговоренный к смертной казни боится смотреть на виселицу.

Первый тягач перегнал Гаврилов. Улучив момент, когда начальства не было на борту (чутко поступил, чтобы не мучилось начальство угрызениями совести!), спустил тягач на лед, похлопал машину по могучим бокам, потом залез в кабину и запустил мотор, высунулся из нее, заорал: «Счастливо оставаться!» – и на третьей передаче рванул по трассе. Проскочил. А за ним – второй тягач, по колее.

За ужином в кают-компании Макаров долго ругал Гаврилова за самоуправство, но тот отмахивался, довольно урчал и ел за троих. На Сеницына он только раз взглянул и отвернулся.

И вообще больше к нему не подходил, ни разу не обращался, словно бывшего начальника транспортного отряда уже не было в Мирном.

Вот почему Синицын долго не мог заснуть.

Ему мерещился Гаврилов и его взгляд, тяжелый взгляд командира первой роты летом сорок второго года. И никакими усилиями воли Синицын не мог прогнать от себя эти видения.

Когда он после войны вернулся домой с двумя боевыми орденами и не менее почетным, чем третий орден, шрамом во всю щеку, его, юного победителя, провожали по улице горящие глаза мальчишек, им гордился отец-учитель. Однажды он привел сына в школу, в которой Синицын когда-то учился, и представил его классу. И один восторженный мальчик, приветствуя героя от имени класса, воскликнул: «Дорогой товарищ гвардии сержант! Мы вам очень завидуем! Вы на всю жизнь счастливы, потому что у вас чистая совесть!»

Это было немножко смешно, но в общем справедливо. Тогда Синицын воспринял этот детский восторг как должное. Но с годами память, холодная и беспощадная, то и дело стала напоминать о том, о чем очень хотелось забыть навсегда. По ночам на Синицына напознали танки, в рукопашной в него вонзали кинжалы, его убивали, и он убивал. Он кричал во сне, и Даша ласково гладила его по лицу, успокаивая.

А когда он видел командира роты и товарищей, погибших на высоте, то просыпался без крика, но больше заснуть не мог.

А теперь еще и Гаврилов.

И вдруг у Синицына появилось смутное ощущение, что с Гавриловым связан еще какой-то очень неприятный эпизод. Он снова поднялся, подошел к окну и большими глазами уставился на однообразный и надоевший полярный пейзаж. Айсберги, льды, серое, промозглое небо... Что-то было еще, что-то было... Вспомнил!

Перед самым уходом «Визе» к нему подошел Гаврилов и, явно пересиливая себя, неприятно буркнул: «Топливо подготовлено?»

Синицын, измученный бессонницей, падающий с ног от усталости, утвердительно кивнул. И Гаврилов ушел не попрощавшись, словно жалея, что задал лишний и ненужный вопрос. Ибо само собой разумеется, что ни один начальник транспортного отряда не покинет Мирный, не подготовив своему сменщику зимнего топлива и техники. Ну, не было в истории экспедиций такого случая и не могло быть! Поэтому в заданном Гавриловым вопросе любой на месте Синицына услышал бы хорошо рассчитанную бестактность, желание обидеть и даже оскорбить недоверием.

Синицын точно помнил, что кивнул он утвердительно.

Но ведь зимнее топливо как следует он подготовить не успел! То есть подготовил, конечно, но для своего похода, который должен был состояться полярным летом. А Гаврилов пойдет не летом, а в мартовские морозы, и поэтому для его похода топливо следовало готовить особо. И работа чепуховая: добавить в цистерны с соляром нужную дозу керосина, побольше обычного, тогда никакой мороз не возьмет. Как он мог запомнить!

Синицын чертыхнулся. Нужно немедленно бежать в радиорубку, узнать, вышел ли Гаврилов в поход. Если не вышел, сказать правду: извини, оплошал, забыл про топливо, добавь в соляр керосина. Если же Гаврилов в походе, поднять тревогу, вернуть поезд в Мирный, даже ценой потери нескольких дней, чтобы разбавить солярку.

Синицын начал одеваться, сочиняя в уме текст радиограммы, и остановился. Стоит ли поднимать панику, на скандал, проработку напрашиваться? Ну какие будут на трассе морозы? Градусов под шестьдесят, не больше, для таких температур и его солярка вполне сгодится.

Успокоив себя этой мыслью, Синицын снял с кронштейна графин с водой, протянул руку за стаканом и нащупал на столе коробочку. В полутьме прочитал: «люминал». И у Женьки нервишки на взводе... Сунул в рот две таблетки, запил водой, лег и забылся тяжелым сном.

Через три часа санно-гусеничный поезд Гаврилова ушел из Мирного на Восток.

Гаврилов

Хотя смерть Гаврилов видел много раз, по-настоящему в своей жизни он умирал дважды.

Впервые это случилось, когда ему было шесть лет и он заболел менингитом. Он метался в жару, ничего не сознавал и не слышал, как в разговоре отца и доктора решалась его судьба. Доктор, прискакавший верхом из далекой сельской больницы, предлагал сделать пункцию. Тогда мальчишка, быть может, останется жить, хотя за его умственные способности доктор ручаться не станет. А если не сделать пункцию, то почти наверняка умрет.

Как потом узнал Гаврилов, отец сказал: «Пусть помирает. Не простит мне сын, если останется калекой».

Доктор развел руками и ускакал: ему каждый день нужно было кого-то спасать. А месяца через полтора он поехал навестить лесника. Думал, что сейчас, за поворотом, увидит небольшой свежий холмик, но увидел не холмик, а мальчишку, который из бутылочки поил молоком медвежонка.

Поговорив с мальчишкой о том о сем, доктор сказал леснику:

- Жить твоему пацану, Тимофей, до ста лет.
- Его забота, – сказал лесник.
- Один шанс из тысячи был у него.
- Мой Ванька своего не упустит, – согласился лесник.

Так Гаврилов выжил в первый раз.

А лет через двадцать его расстреляли немцы. Когда кончились боеприпасы, Гаврилов выполз из нижнего люка разбитого танка и стал отстреливаться из пистолета. Приберегал для себя последнюю пулю, но всадил ее в набегающего фашиста. Потом отбивался кулаками. Схватили. Избитый, с вывихнутой рукой валялся в лагере на сырой земле, а когда колонну повели через лес, прыгнул в кусты. Поймали, привели назад и для острастки остальных пленных расстреляли на их глазах из автомата. Сердобольные старушки из деревни потащили его хоронить, а он застонал. Выходил Гаврилова старик фельдшер в партизанском отряде, заштопал три дырки в груди. А потом отправили на «кукурузнике» в Москву, в госпиталь.

Излечившись, он удачно провоевал еще целых два года. Сменил в боях несколько «тридцатьчетверок», но всякий раз оставался жив и здоров: ни пуля, ни осколок не могли найти его огромного, налитого стальными мускулами тела.

Закончил Гаврилов войну гвардии капитаном, демобилизовался и начал мирную жизнь.

Но в этой мирной жизни очень мешал Гаврилову его характер. В войну он тоже мешал, но комбриг любил строптивого комбата и спускал ему немалые грехи за редкую храбрость и умение воевать. Даже нашумевшую историю с Кокоревым, начальником военторга корпуса, и ту генералу удалось замять.

Случилось, что два дня бригада страдала без курева, даже проклинаясь всеми фронтовиками филичевый табак и тот кончился. А военторговская машина с куревом, как стало известно, проскочила не той дорогой и намертво застряла в болоте. В это время в бригаду прибыл Кокорев и, на свою беду, натолкнулся на Гаврилова. Прояви себя начальник военторга дипломатом, и не было бы никакого скандала. Но на вопрос Гаврилова, когда снабженцы думают вытаскивать машину, Кокорев грубо посоветовал капитану обратиться по инстанции. Гаврилов побагровел и засопел – верный признак надвигающейся бури. Здесь бы Кокореву повернуться и уйти с честью, но он плохо знал, с кем имеет дело, и опрометчиво добавил: «Когда надо будет, тогда и вытащим, понятно?» Гаврилов вскипел, с помощью экипажа силой усадил Кокорева в танк и повез по лесным проселкам выручать военторговскую машину. Выручили. По дороге наскочили на засаду, ввязались в перестрелку, но благополучно выбрались, привезя с собой похудевшего от пережитых волнений пассажира.

– В следующий раз будешь знать, что танкисты окурков не подбирают! – вытаскивая бедолагу из люка, гремел Гаврилов.

Командир корпуса, к которому Кокорев побежал с жалобой, сначала хотел сурово наказать Гаврилова за самоуправство, но, будучи человеком, не лишенным чувства юмора, в конце концов ограничился полумерой: задержал представление Гаврилова к ордену...

Были у Гаврилова и другие проступки, но все ему сходило с рук, потому что никто другой так лихо не проводил разведку боем. Любил генерал своего комбата и любовь свою выражал тем, что первым посылал его в самый огонь – этот любую смерть обманет!

Возвратившись на родной Алтай, Гаврилов стал директором МТС. Не хватало запасных частей – съездил в свою танковую бригаду, добыл правдами и неправдами. Некому было работать на тракторах и машинах – выписал к себе ребят-танкистов, переженит их на истосковавшихся колхозных девчатах и построил молодоженам дома. Соседи вокруг шутили, что из своей МТС Гаврилов сделал воинскую часть, но в глубине души завидовали независимому в прочном положении бывшего комбата. Уже пошли разговоры о том, что вот-вот заберут Гаврилова на повышение, в область, когда один случай все поломал.

Как-то приехал в МТС местного масштаба начальник, большой любитель охоты. Стояла распутица, и он, жалея новенькую служебную машину, попросил у Гаврилова «газик»: до озера, богатого дичью, было километров сорок. Гаврилов, с утра до ночи носившийся на этом «газике» по полям, не только наотрез отказал, но и наговорил начальнику много больше, чем, может быть, следовало. Начальник отшутился: сообразил, верно, что не сейчас нужно копыя ломать, но унижения своего не забыл. А вскоре в МТС начали наезжать комиссия за комиссией...

Разругавшись, Гаврилов уехал на Север. Работал в леспромхозе, возил хлысты, ремонтировал тракторы и тосковал по настоящему делу. И вот однажды в Котласе встретил на улице своего комбрига, приехавшего навестить семью погибшего на фронте брата. Посидели, поговорили. А через месяц Гаврилов получил письмо. Генерал писал, что его друг, директор полярного института, ждет Гаврилова и намерен предложить ему то самое, настоящее дело.

Так Гаврилов стал полярником: зимовал на далеких станциях, дрейфовал на льдинах. Полюбил эту жизнь, хотя она и не баловала его. Как когда-то на фронте, здесь тоже ценили мужество и силу, а постоянная опасность цементировала дружбу людей, нуждавшихся друг в друге, как нуждаются в этом идущие в бой солдаты. Когда лопалась льдина или на лагерь шли торосы, Гаврилов сутками не спал, перетаскивая домики, спасая оборудование или расчищая взлетно-посадочную полосу. Дизелист и механик-водитель, который работает за двоих да еще и равнодушен к спиртному, – таких на Севере уважают. И получилось, что не только Гаврилов нашел себе дело, но и дело нашло его.

А вот жениться ему никак не удавалось, старики так и не дождались внука. Возвращаясь на материк, Гаврилов не раз пытался найти подругу по душе, но как-то неудачно. Жених он был завидный, с положением и деньгами, почти любая из одиноких женщин, которых после войны было немало, охотно вышла бы за него. И не то чтобы он был слишком привередлив или чрезмерно ценил себя, но не встречалась ему такая женщина, которую он смог бы полюбить. А без любви Гаврилов жены не хотел. В зимовку завидовал товарищам, мечтавшим о встречах с женами и детьми, давал себе слово, что на этот раз бросит на материке якорь, а возвращался, и все шло по-старому. Приближался к сорока годам Гаврилов, старели женщины, так и не дождавшись от него предложения, а он вновь уходил на зимовку, откуда некому было писать и где не от кого было ему ждать писем и радиogramм.

Однажды, возвращаясь после рейса домой, застрял из-за пурги в Архангельске. И вот давным-давно пурга улеглась, товарищи улетели на материк, а Гаврилов все жил в гостинице, коротая дни и дожидаясь вечеров, чтобы проводить домой медсестру Екатерину Петровну. Полюбил ее Гаврилов всем сердцем, с первого взгляда, как бывает только в книгах.

Ей было около тридцати, и у нее имелся соломенный муж, летчик, навещавший ее несколько раз в году, когда летал по этой трассе. Подруги жалели сестричку, но поскольку она была хороша собой и горда, жалость эта была не очень искренняя, что вполне согласуется с природой женщин, особенно подруг. Благосклонности Екатерины Петровны добивались многие, однако повода сплетням она не давала и отваживала ухажеров корректно, но решительно.

С Гавриловым дело обстояло по-иному. Безошибочная интуиция подсказывала Екатерине Петровне, что этот огромный и вспыльчивый человек, который немеет при ее появлении, добивается от нее не милости на день, а неизмеримо большего. Про себя она назначила Гаврилову испытательный срок, один месяц – только до порога, а потом, поверив, сдалась. Гаврилов совсем потерялся от счастья, две недели любви стали для него высшей наградой, за всю его жизнь. А потом она сказала: «Знаешь, Ваня, обнимаю тебя, а думаю о нем. Уходи, Ваня, прости меня».

Гаврилов молча ушел и с первым же рейсом улетел искать его. Нашел в летной гостинице Хатанги. Посмотрел на него Гаврилов и честно признался самому себе, что сравнение не в его пользу. Летчик был высок, мужествен и красив. «С такой физиономией в кино сниматься», – хмуро подумал Гаврилов, сознавая, что по сравнению с ним сам он выглядит как глыба неотесанного гранита.

Гаврилов не любил таких людей, каковым, по его мнению, все в жизни дается без труда: и успех у женщин и всякая другая удача. А к этому человеку он испытывал особую неприязнь. Если бы летчик любил Екатерину Петровну, Гаврилов, наверное, простил бы ему и красивое лицо, и превосходно сшитую форму, и даже откровенный взгляд, каким тот ощупывал явно равнодушную к нему официантку. Но летчик пренебрег женщиной, которую Гаврилов боготворил, и потому был в его глазах олицетворением всех пороков.

Разговора не получилось. Узнав, чего хочет от него этот увалень, летчик засмеялся и позвал товарищей.

– Еще один претендент на Катину руку! – поведаль он. Засмеялись и товарищи. – Ставь бутылку коньяку и бери. А нет денег, дарю мою Катюшу бесплатно! Только чур: как прилечу в Архангельск, выкатывайся из дому. Идет?

Гаврилов не сдержался, изо всей силы ударил кулаком по красивой роже. К счастью, летчик успел чуть отклониться, но все равно с пола он поднялся лишь с помощью товарищей. И – удивительное дело! – проснулась в человеке совесть. Сказал, что сам виноват и претензий к Гаврилову не предъявляет, но надеется в будущем с ним рассчитаться. На том и расстались.

Дома Гаврилов пробыл не долго: тосковал и не находил себе места, пока не уехал водителем в антарктическую экспедицию. Трудный поход потребовал такого напряжения сил, что травма, казалось, прошла сама собой. Но когда «Обь» пришвартовалась к причалу Васильевского острова, Гаврилов с трудом заставил себя занести домой вещи: непреодолимая сила тянула его в Архангельск. Переоделся, поймал такси, поехал в аэропорт и через несколько часов был на тихой архангельской улице. Постучался, вошел. Екатерина Петровна, бледная и неузнаваемо похудевшая, кормила из ложечки годовалого мальчика. Посмотрел на него Гаврилов, и сердце его перевернулось: сын... Обнял безмолвную Катю, поцеловал заревевшего мальчишку и в тот же день увез их в Ленинград.

И с того дня не было человека счастливее его. Он жил ради Кати и сыновей, которых за десять лет у него стало трое, и, думая о них в разлуке, боялся верить своему счастью.

Ради них стал осторожнее и мудрее, берег себя и не лез на зряшний риск. В походах не снимал связанного Катей свитера, а к ночи, ложась спать, вынимал из планшета фотокарточку, на которой была его семья, и на сердце у него теплело.

Так и прожил пятьдесят лет Гаврилов, бывший комбат, а ныне «старый полярный волчара», как называли его друзья. Много раз дрейфовал, исколесил вдоль и поперек Антарктиду, повидал столько, что хватило бы и на несколько жизней.

Дважды его хоронили – выжил, в танках горел – не сгорел, в разводьях тонул – не утонул, в трещины падал – выкарабкивался. И во всех испытаниях не покидала его вера в свою счастливую звезду. Ничего в жизни не давалось ему сразу, за каждую удачу платил он потом и кровью, но если бы можно было снова пройти этот путь, то снова прошел бы его без сомнений и колебаний, не сворачивая ни на вершок. И только за последний поход винил себя Гаврилов. Упрекал, терзал себя за то, что недосмотрел, поверил на слово – кому поверил! – и обрек, быть может, на смерть девять преданных ему ребят.

И память возвращала его к тому роковому решению.

Свобода выбора

Пятый раз шел на станцию Восток Гаврилов, но никогда не приходил так поздно – в конце февраля.

На Востоке было холодно, но пока не очень, градусов пятьдесят пять. Считалось, что это даже тепло – настоящие морозы начинаются в апреле – мае, тогда здесь бывает минус восемьдесят, а то и под девяносто. Восемьдесят восемь, во всяком случае, термометр в августе как-то показывал.

Бесценная для науки станция – полюс холода, геомагнитный полюс Земли. Жемчужина Антарктиды! Вот и ходят сюда поезда. Трудный, дорогостоящий поход, но без него никак не обеспечишь станцию топливом. А топливо – это тепло, которое Востоку нужнее, чем любому другому жилью на свете. Не хватит топлива, остановится дизельная, и через тридцать-сорок минут станция погибнет. Так что каждый санно-гусеничный поезд дарит станции год жизни. Если же поезд почему-либо не придет, люди, как птицы, улетят отсюда к теплу. Один раз, в Седьмую экспедицию, так уже случилось, и Восток на год осиротел. Многого недополучила наука за тот потерянный год.

Поэтому нет большего праздника для восточников, чем приход поезда. Но ни разу не встречали дорогих гостей в самом конце полярного лета, когда столбик термометра с каждым днем неумолимо падал вниз. Во все предыдущие экспедиции поезд в это время уже приходил обратно в Мирный. А теперь возвращаться придется весь март, а то и половину апреля, по ледяному куполу, скованному лютым холодом.

И радость восточников была омрачена тревогой.

Но ее старались не показывать, потому что походникам нужно было хорошо отдохнуть. Они пять недель вели перегруженный поезд. Особенно тяжело дался крутой подъем, начинающийся километрах в тридцати от Мирного. Чтобы вытащить многотонный груз, в одни сани приходилось запрягать по два тягача. Потом тягачи возвращались обратно за другими санями, и так несколько раз – челночная операция, проклинаемая полярниками всех экспедиций. А двухметровые заструги у Пионерской, в которых тягачи застревают, как в противотанковых надолбах? Всю душу вытрясли из механиков-водителей эти заструги. Хлебнули горя и в зоне сыпучего, как песок, снега, где тягачам приходилось вытаскивать друг друга на буксире. А купол становился все выше, у Комсомольской он уже достиг высоты трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Правда, от горной болезни походники не очень страдали, сказывалась постепенность подъема, благодаря чему организм понемногу привыкал к нехватке кислорода.

К Востоку пришли измотанные, грязные, исхудавшие и несколько дней отдыхали. Отмылись в бане, посмотрели по традиции лучшие фильмы и беззаботно отоспались.

Но все равно настоящего праздника не получилось. Оттого, что о проблеме стараются не говорить, она не исчезает. И все замерли в ожидании. Кому-то предстояло взять на себя ответственность, кто-то должен был сказать первое слово. Решалась судьба станции Восток, быть ей или не быть на следующий год.

Взаперти беседовали о чем-то начальник станции Семенов и Гаврилов, по углам шушукались походники, но за столом в кают-компании говорили о чем угодно, только не о возвращении.

Первый шаг сделал начальник экспедиции Макаров. Он прислал Гаврилову радиogramму, в которой предлагал экипажу поезда оставить технику на Востоке и вылетать в Мирный. Предлагал, а не приказывал!

Макаров не хотел рисковать людьми, но он-то хорошо понимал, что если тягачи застрянут на Востоке, станция через год останется без топлива и ее придется законсервировать. Поэтому начальник экспедиции и не приказывал, а только предлагал.

Этот оттенок, незначительный на первый взгляд, многое решал. Ослушавшись, Гаврилов совершал, конечно, проступок, но не такой уж серьезный. Вот если бы он нарушил приказ – другое дело. А в слове «предлагаю» была какая-то необязательность, в нем оставалось место для субъективного истолкования. Макаров как бы развязывал Гаврилову руки и давал ему возможность принять любое из двух решений. Времени на размышления оставалось немного.

Полет на Восток длится шесть часов. Четыре часа назад два ИЛ-14 вылетели из Мирного с последним рейсом. Через два часа они будут здесь. Сорок минут уйдет на разгрузку самолетов, а потом они возвратятся обратно, и летчики тут же перейдут на «Обь». Капитан Томпсон и так рвет и мечет из-за того, что летчики затянули полеты на Восток.

Значит, в распоряжении Гаврилова имелось два часа сорок минут.

Думал Гаврилов недолго. В критических ситуациях он привык полагаться на интуицию, которая обычно его не подводила. Он считал, что чем больше в таких случаях думаешь, тем больше находишь доводов против риска, а потому нужно действовать, как подсказывает тебе шестое чувство.

На фронте Гаврилова не раз обвиняли в том, что он лезет в драку очертя голову. Но как-то так получалось, что именно крайне дерзкие его поступки и приносили успех бригаде. Однажды Гаврилов бросил в атаку свой батальон по еще не замерзшему болоту, утопил один танк, но зато с остальными буквально растерзал незащищенный фланг ошеломленных фашистов. В другой раз в ходе разведки боем Гаврилов углубился по проселку километров на тридцать в немецкий тыл, натолкнулся на аэродром и расстрелял из пушек восемь готовых к вылету «юнкерсов». И Гаврилов привык, что «случай» работал на него. Привыкли к этому и люди, с которыми он был связан, как привыкли они и к тому, что самое опасное дело всегда поручали именно ему.

Но на этот раз Гаврилов размышлял недолго отнюдь не потому, что опасался отыскать убедительные аргументы против обратного похода: аргументов этих было хоть отбавляй, и главный из них – неизвестность. Никто не ходил в поход по ледяному куполу в это время года, и никакой человеческий опыт не мог подсказать Гаврилову, как поведет себя техника в условиях крайне низких температур. И не потому размышлял недолго, что слепо верил в свою счастливую звезду и всегдашнюю удачу. С возрастом инстинкт самосохранения одергивает человека куда чаще, чем в зеленой юности, и Гаврилов в этом смысле не был исключением.

Просто он видел с самого начала не два, а лишь один выход из положения: нужно доставить тягачи обратно в Мирный.

Гаврилов знал, что его никто не осудит, если он и его ребята возвратятся по воздуху. В конце концов, не они виноваты, что поезд вышел в поход слишком поздно. Оставив тягачи на Востоке, они поступили бы в соответствии с предложением начальника экспедиции, сделанным им из самых гуманных побуждений. Никто не осудит и Макарова, поскольку он, возможно, предотвратил гибель людей. Так что никто не пострадает, и все окажутся правы.

Но станция Восток через год будет законсервирована!

Это Гаврилов тоже знал, и знал точно. И представлял себе, как за его спиной полярники будут говорить: «Самолетом, конечно, спокойнее... Сдал старик. Был бы на его месте парень посмелее, не остались бы без Востока!» И эти люди будут по-своему правы, потому что в конечном счете оцениваются только результаты. Это, быть может, жестоко, но справедливо.

Вот почему для себя Гаврилов видел лишь один выход из положения. Для себя, но не для своих ребят! У них должна быть свобода выбора, как у добровольцев, когда предстоит опасное дело. На фронте Гаврилов иногда так и поступал: излагал обстановку, ничего не скрывая, и предлагал тем, кто хочет идти в разведку, разделить его участь, сделать шаг вперед.

Есть на станции Восток крохотный холл, где стоят два снятых с самолета кресла и круглый стол, за которым восточники любят поговорить о жизни, выпить чашку чая и забить «козла». Здесь Гаврилов собрал своих ребят, минут за десять рассказал им о своем плане и закончил:

– Ну, если есть вопросы, говорите, если нет – кто за, кто против?

– Так дело не пойдет, батя... – возразил механик-водитель Игнат Мазур. – Что мы, председателя месткома выбираем? Давай по-честному: или все летим, или все ползем. Голосуй в целом.

– Правильно, – поддержал Игната врач-хирург Алексей Антонов. – Сейчас у нас полный комплект. Если несколько человек улетят, как доведем поезд?

– Померзнем, батя, – проговорил штурман Сергей Попов. – Самолетов не будет, никто не выручит...

– Я за предложение брата, – высказался механик-водитель Давид Мазур. – Если, допустим, я полечу, а Тошка пойдет и останется на трассе? Как я буду людям в глаза смотреть?

– Бр-р-р! – строя рожи, начал паясничать Тошка Жмуркин, совсем юный стажер. – Не хочу оставаться на трассе, хочу к теще на именины!

– Цыц! – оборвал его Гаврилов, и Тошка обиженно притих. – Дело пахнет порохом, и пусть каждый решает за себя, потому что...

– ...своя шкура ближе к телу, – пискнул неугомонный Тошка и тут же завертел головой в знак того, что больше не будет.

– Не такое это дело, чтобы давить на меньшинство, – сказал Гаврилов. – Каждый должен решать сам.

И вышел, чтобы не давить.

Возвращаться самолетом решили трое: механик-водитель Василий Сомов, штурман поезда Сергей Попов и повар Петя Задирако. Это, конечно, создавало большие трудности, но не срывало похода, потому что камбуз брал на себя доктор, тягач Сомова – Тошка, а штурмана мог заменить сам Гаврилов.

При общем молчании Сомов, Попов и Задирако пошли в балки за своими вещами.

Послышался гул моторов: с небольшим интервалом на полосу один за другим сели два ИЛ-14.

К Гаврилову подошел Семенов, начальник Востока и старый друг.

– Все судьбу испытываешь, Ваня? – сказал он.

– Курева дашь? – спросил Гаврилов. – Пачек бы сто «Шипки» пополам с «Беломором».

– Последние рейсы, Ваня!

– И банок десять джема, – добавил Гаврилов. – Ну а ежели еще и сколько не жалко «Столичной», повешу в балке твой портрет и на ночь буду молиться, как на икону.

Семенов махнул рукой и отправился на полосу.

Тяжело полярникам береговых станций провожать последний корабль, но во сто крат тяжелее восточникам, когда взмывают в воздух последние в нынешнем году самолеты. Теперь, что бы ни случилось, шестнадцать восточников девять долгих месяцев будут рассчитывать только на самих себя, беречь живительное тепло дизельной и жаться друг к другу, чтобы сохранить коллектив. Привыкнуть к такому полному отрыву от всего мира нельзя, как нельзя привыкнуть к кислородному голоданию, к чудовищным холодам в полярную ночь и к мысли о том, что, случись беда, и Востоку не сможет помочь никто.

Грустно восточникам провожать последние самолеты!

«Вот и все, – подумал Гаврилов, когда самолеты поднялись в воздух. – Все пути отрезаны. Теперь осталась одна дорога в Мирный – санно-гусеничная колея». И пошел к тягачам, у которых хлопотали водители. Среди них увидел Сомова. Ничего не сказал, заглянул в камбузный балок. Так и есть, Задирако пересчитывает ящики с полуфабрикатами.

Потеплело у Гаврилова на душе: остались, поверили в своего батю, как они его называли. Один только Попов улетел. «Спасибо, сынки, никогда не забуду, умирать буду – вспомню добрым словом». И молчаливая горечь, терзавшая Гаврилова с того момента, когда трое решили улететь, сменилась тихой радостью. «Теперь все будет хорошо, теперь дойдем».

Потом был прощальный обед. Не торопясь посидели в кают-компании за роскошным столом – Семенов ничего не пожалел, выставил лучшее; выпили немного, немного потому, что на Востоке к алкоголю не очень-то тянет, и без того дышать нечем. Как всегда, сфотографировались на прощание у тягачей, обнялись и расцеловались, не стыдясь слез, – все равно не видны: и ресницы и бороды покрыты инеем. И пошли походники домой, в Мирный, под ракетные залпы.

Только через пять суток, когда морозы перевалили за шестьдесят, Гаврилов узнал, как подвел его Сеницын.

Загустевшая кровь

В этом походе все было наоборот; двигался поезд ночью, а под утро останавливался, и люди отдыхали. Делалось так потому, что ночью морозы сильнее и заводить машины лучше было днем, когда температура на несколько градусов выше. Впрочем, к Центральной Антарктиде уже подходила полярная ночь, солнце покидало материк на долгих полгода, и разница между временами суток становилась все менее заметной. К тому же если на Большой земле люди не очень любят работать в ночную смену, то походникам это безразлично. Все равно до жены, детей, телевизора и стадиона около двадцати тысяч километров, а раз так, то какая разница, когда работать и когда отдыхать.

И поезд шел ночью. Впереди была Комсомольская, а там цистерна, и мысли всех десяти человек сосредоточились на ней, на этой цистерне.

Когда первопроходцы пробивались от Мирного к Востоку, по дороге они основывали станции. Так возникли Пионерская, Восток-1 и Комсомольская. И хотя станции эти давным-давно были законсервированы и для жилья не годились, приход на каждую из них для походников означал многое. Что ни говорите, а промежуточный финиш – этап большого пути. Пионерскую уже в незапамятные времена первых экспедиций занесло многометровой толщей снега, на Востоке-1 только вехи стояли, а в полузасыпанный домик на Комсомольской можно было при желании даже зайти и вообразить, как он выглядел, когда люди вдохнули в него жизнь. И заходили, чтобы испытать чувство приобщенности к человечеству: хоть и бывшее, но все-таки жилье! Не бездушная белая пустыня.

Двигаясь к Востоку, походники Гаврилова на каждой из этих станций оставляли цистерны с горючим и бочки с маслом – для себя же, на обратную дорогу. На Комсомольской тоже была оставлена цистерна. Никуда она деться не могла, разве что пурга, встретив на гладком куполе эту преграду, надела бы на нее белую шубу; никто не мог цистерну ни разбить, ни украсть, ни припрятать, а думали о ней походники с лютым беспокойством. Или, вернее сказать, с надеждой, к которой примешивалась глухая тревога.

Трудно жить человеку, когда нет перспективы. Если даже все у него сложилось хорошо, не дают невзгоды и не угнетают болезни. Так уж устроен человек, что ему обязательно нужно надеяться на лучшее, чем то, что у него есть. А в тяжелые моменты жизни мечта спасает. Не самообман – бессмысленное утешение слабых, не большая фантазия нищего, который шарит по тротуару глазами в поисках туго набитого бумажника, а мечта, за которую нужно и стоит бороться.

Такой путеводной звездой стала для походников цистерна на Комсомольской.

Неделю назад радист и по совместительству метеоролог Борис Маслов, вытащив из снега термометр, воскликнул: «Шестьдесят два, привет, братва!» Тошка полез на цистерну – их две, по четырнадцать кубов каждая, везла на санях «Харьковчанка» – и отвинтил горловину. Изумленно всмотрелся в содержимое цистерны и провозгласил:

– Кому киселю? Две копейки черпак!

Шутку не приняли. Механик-водитель относится к своей машине, как к живому организму: двигатель-сердце разгоняет по кровеносным сосудам соляр и масло, ведущая звездочка и катки-суставы вращают гусеничную ленту, которая служит тягачу ногами. Как и живому организму, тягачу необходима каждая деталь. Но главное – это сердце. Если лопаются на гусеничных траках пальцы, летят на маслопроводах дюриты и случаются другие привычные мелкие поломки, водитель только чертыхается. А когда дает перебои сердце, шутки в сторону.

Люди подошли к цистерне и молча смотрели, как Тошка пытается вылить из черпака соляр. Он не выливался! Жидкость потеряла текучесть. Густая, похожая на студень масса будто прикипела к черпаку. Топливо перестало быть топливом, кровь загустела!

О таких необычных явлениях рассказывали восточники, которые открыли, что при сверхнизких температурах в ведро с бензином можно опустить горящий факел и тот погаснет, что соляр можно резать, как мармелад, а железная труба от удара кувалдой разлетается, словно она сделана из фарфора.

Наверное, для науки действительно очень важно и интересно было узнать, как изменяются свойства веществ в практических условиях, приближенных к космическим. Ступенька в познании объективного мира! Но мысли походников, молча смотревших да черпак в руке Тошки, были приземленнее. Они видели, что топливо загустело, и ясно представили себе причину и следствие этого явления.

В дизельном топливе после перегонки остается небольшая часть парафина. В летних сортах его больше, в зимних меньше. Для работы двигателя в условиях температур ниже 45° в зимнее топливо добавляется 15–20 процентов керосина. Если же в сильный мороз идти на недостаточно разведенном соляре, то в нем, стоит тягачу остановиться и заглушить двигатель, быстро образуются парафиновые пробки. Эти пробки забивают топливопровод и топливный насос, и солярка, как кровь, закупоренная тромбом, перестает обращаться.

Синицын!

«Гад, сволочь и сукин сын! – подумал Гаврилов. – Если вернусь, прибую!»

«Если вернусь, – резануло по сердцу. – Попробуй дойди на таком мармеладе...»

Ярость душила Гаврилова. Он рванул подшлемник и вдохнул ртом воздух, один раз, другой. Обжег легкие, задохнулся.

– Батя, надень! – бросился к нему Антонов, но Гаврилов отпихнул его, полез на цистерну, взял у Тошки черпак и повертел им в горловине.

Надвинул подшлемник и спустился вниз. Окинул взглядом напряженно застывших в полутьме ребят.

– Влипли, как муха в варенье, – хрипло вымолвил Игнат Мазур.

– Ужинать! – приказал Гаврилов, и все пошли на камбуз.

И отныне двигались ночью и мечтали о цистерне, которую они оставили на Комсомольской: а вдруг в ней зимнее топливо? Понимали, что если уж в одной цистерне студень, то и в остальных скорей всего то же, но все-таки надеялись, заставляли себя верить. А вдруг? Хотели было послать Синицыну на «Визе» радиogramму, спросить, потребовать, чтобы ответил почестному, но Гаврилов запретил. Сказал, что не стоит унижаться, а сам про себя подумал, что отрицательный ответ лишит ребят надежды и кое-кто может пасть духом. Надежда – тоже топливо, без нее не дойдешь. Не будет удачи на Комсомольской – можно помечтать о цистерне на Востоке-1, там осечка – верь в цистерну на Пионерской. А оттуда до Мирного меньше четырехсот километров, на святом духе дойдем.

С каждым днем все холодало, и скоро стало семьдесят градусов ниже нуля.

Очередной бросок начинали так. Растапливали в бочке на костре масло, которое стало твердым, как битум, и заливали по шесть – восемь ведер на тягач. Тут же запускали прогреватель, грели антифриз и масло. Антифриз набирал тепло значительно быстрее, и тогда прогрев прекращали, чтобы антифриз отдал избыток тепла маслу. Потом снова начинали и снова прекращали, и так много раз, пока масло не нагревалось до плюс десяти градусов, а антифриз – до плюс восьмидесяти. Одновременно в бочках грели соляр. Как только масляный насос начал гнать масло в систему, разжиженный соляр перекачивали в топливный бак и запускали двигатель.

Кончали с одним тягачом, переходили к другому. На все это уходило четыре-пять часов, а иногда и больше. Однажды так и не смогли запустить двигатели двух машин и сутки простояли.

Медленно, с надрывом, но шли, километр за километром. Останавливались часто: у одного тягача летели пальцы, у другого дюриты, у третьего лопалась серьга прицепного устройства. Поморозились на холоде, на котором ни один человек до сих пор не работал, ни

один, потому что даже восточники в такие морозы выходят из дому лишь на двадцать – тридцать минут. Но шли: жизнь можно было сохранить только в движении.

Впереди – флагманская «Харьковчанка» с двумя цистернами на санях, самая большая и мощная машина в Антарктиде. Высоко над ней развевался красный флаг. За рычагами сидел Игнат Мазур, а Борис Маслов «играл в морзянку» – тянул из Мирного тонкую эфирную ниточку. В штурмане же покамест нужды не было: поезд шел по колее.

Следом вел тягач с жилым балком Давид Мазур, за ним с камбузом на борту двигался Василий Сомов. Хозяйничал на камбузе Петя Задирако, помогал ему доктор Алексей Антонов.

Тягач, в кабине которого сидели Валера Никитин и Тошка Жмуркин, называли «неотложкой»: в его кузове был смонтирован кран со стрелой, в ящиках находились всякого рода запчасти – стартеры, генераторы, прокладки, форсунки, подшипники и прочее. На предпоследнем тягаче со вторым жилым балком шел Ленька Савостиков, а замыкал поезд Гаврилов, тянувший сани с хозяйственным грузом.

Итого шесть машин и десять человек.

Шли друг за другом, соблюдая дистанцию в десять – пятнадцать метров. Колея была полуметровая, хорошо заметная. В центральных районах Антарктида скупа на осадки, снега выпадает немного, и колею обычно не заносит – к счастью, потому что снег здесь слабой плотности и рыхлый, в нем ничего не стоит завязнуть: первопроходцы, которых Алексей Трешников вел во Вторую антарктическую экспедицию к Востоку, хлебнули горя на этом участке.

По расчету, прикидывал Гаврилов, до Комсомольской остается километров тридцать. К утру доползем, если ничего не произойдет. Походы, размышлял он, бывают удачные и неудачные. Легких походов Гаврилов не помнил, но удачные случались. Поломки, ремонты, пурга – без этого, конечно, не обходилось, однако шли весело, с улыбкой. А в другой раз все восставало против тебя: и природа и техника. И поход получался мучительный. «В аварии всегда виноват командир корабля», – вспомнил Гаврилов афоризм своего друга, полярного летчика Кости Михаленко. Если брать по большому счету, то Костя, конечно, прав. Виноват командир, в данном случае он, Гаврилов. Виноват во всем! И в том, что вышли так поздно (в разгрузку спать нужно было меньше!), и в том, что солярка загустела (кому на слово поверил? Синицыну!), и в том...

Гаврилов резко затормозил, открыл дверцу и пустил ракету: из-под балка на тягаче Леньки Савостикова выбивалось пламя.

Пожар

Языки пламени, подгоняемые боковым ветерком, охватили всю левую стенку балка и подбирались к крыше. Несколько походников вгрызались лопатами в снег и бросали в огонь рыхлые комья, а Гаврилов и Сомов, задыхаясь от едкого дыма, откручивали болты, которыми балок был закреплен в кузове тягача.

– Батя, газ взорвется! – бросая лопату, крикнул Маслов.

– Трос, быстрее! – заорал Гаврилов. – Ленька, вон из балка!

Из тамбура один за другим вылетели два спальных мешка, вслед за ними выпрыгнул и начал бешено вертеться на снегу Ленька Савостиков, сбивая огонь с промасленной, заляпанной соляром одежды.

– Трос... Мигом!..

Братья Мазуры дотасили и подцепили к торцу балка тяжелый танковый трос. В кабине тягача Савостикова уже сидел наготове Тошка, за рычагами гавриловского – Никитин.

– Р-разом!

Тягачи рванули в противоположные стороны, и пылающий балок с грохотом рухнул на снег.

– Ложись! – взревел Гаврилов. – Куда?! Назад!

Последнее относилось к Леньке, который в дымящейся куртке ринулся к опрокинутому набор балку и стал лихорадочно срывать принайтованные к крыше ящики и мешки с продовольствием. Гаврилов подскочил к Леньке, ухватил его за руку и поволок в сторону.

– Ложись!

Взрыв, бурная вспышка пламени, и ночную темень прорезали тысячи разноцветных звезд: это взлетел на воздух баллон с пропаном и ящик с ракетами.

– Хорош фейерверк! – вскакивая, сострил Тошка, но Сомов дернул его за ногу, и Тошка упал.

Еще два взрыва, и над головами походников со свистом пролетели куски дерева и осколки разорванной стали.

– Дундук! – зло выдавил Сомов, прижимая Тошкину голову к снегу.

Еще мгновение, и разнесло последний баллон. Больше взрываться было нечему.

На том месте, где лежал балок, дымилась глубокая черная яма. Вокруг нее столпились походники. Из-под укутавших их лица подшлемников вырывались клубы пара. Постояли, отдышались.

– Капельницу, что ли, не погасили? – предположил Игнат.

– Мы с Тошкой уходили из балка последними, – припомнил Никитин. – Погасили, точно.

– Чего натворил? – хрипло спросил Леньку Сомов.

Ленька понурил голову.

– Не приставай, видишь, переживает, – съязвил Игнат. – Сосунок!

Сжав кулаки, Ленька, как слепой, пошел на Игната.

– Давай, давай морды бить! – рявкнул Гаврилов. – Я вам!..

Гаврилов круто повернулся и направился к Ленькиному тягачу. Включил карманный фонарик, присмотрелся, выругался.

Все подошли и склонились над левой выхлопной трубой. Она была оголена, лишь по бокам висели почерневшие лохмотья обмотки. Ясная картина: прогорели медно-асбестовые прокладки выхлопного коллектора, и от раскаленной отработанными газами трубы загорелся настил балка.

– Прокладки, батя!

Отправляясь в поход, Гаврилов всегда менял прокладки на новые, чтобы наверняка хватило на всю дорогу. Первое и святое дело! Но перед этим походом тягачи ремонтировал Синицын. Снова Синицын!

И снова виноват он, Гаврилов. Нужно было еще час не поспать, проверить прокладки.

– Сменить, – ощущая тупую боль в сердце, приказал он. – Развернуть машины, включить фары. Пошуруйте вокруг.

Нашли немного. Кроме сброшенных Ленькой в последнюю минуту двух мешков с хлебом и трех ящиков с полуфабрикатами, разыскали помятую печку-капельницу, разорванные баллоны из-под пропана, обгоревший остов запасной рации и чудом оставшийся невредимым большой ящик с брикетами замороженного бульона. Сгорели все личные вещи жильцов балка – Савостикова, Сомова, Никитина и Жмуркина, фотоаппараты и кинокамеры и, самое главное, картонная коробка с «Беломором» и «Шипкой». Ее искали особенно долго, страшно было остаться без курева. Не нашли.

За обедом подсчитали: на восемь человек курящих имелось десятка три с небольшим сигарет и неначатая пачка «Беломора». Доверили весь запас Задирако и решили курить одну на троих после обеда.

Хлеба должно было хватить – с учетом нескольких мешков на камбузе, а вот полуфабрикаты и газ Гаврилов приказал расходовать экономно. Кроме того, велел Борису Маслову беречь рацию в «Харьковчанке» как зеницу ока, а Задирако – помалкивать про то, что единственный мешок соли разметало взрывом. Через пять-шесть часов ходу – Комсомольская, может, там найдется.

В камбузе было холодно, но покойно, никому не хотелось плестись по морозу к тягачам и до утра в одиночестве ишачить за рычагами.

– Вернусь, – размечтался Тошка, – приду к Синицыну в гости. Такого человека, как я, он примет с уважением (Тошка мимикой изобразил уважение, с каким отнесется к нему Синицын), а я ему: «Сымай штаны!» А он: «Какие такие штаны?» А я: «Твои, взамен тех, что у меня сгорели по твоей милости!» Деваться ему некуда, сымет штаны, а я ему: «Пес с тобой, таскай, куда тебе на улицу с голым задом!»

– Паяц! – неодобрительно глядя на развеселившихся товарищей, буркнул Сомов.

– Валера, одолжи на перегон Тошку! – отмахнувшись от Сомова, попросил Давид. – Вернемся – месяц пивом поить буду!

– Как это так одолжи? – заважничал Тошка. – Я тебе, брат, не какой-нибудь Фигаро. Этак каждый начнет канючить: «Давай мне Тошку!» Вас вона сколько, а Тошка один.

– Ладно, езжай до Комсомольской с Давидом, – с лаской в голосе сказал Гаврилов. – Только не заговори его допьяна, собьется с курса и загонит машину на Южный полюс. А ты, племянник (к молчаливому Леньке), не вешай нос, а то я подумаю, что ты барахло свое жалеешь. Сдирать стружку с тебя пока не стану, тем более Петя не разрешит, раз ты ему хлеб и бифштексы выручил. Ну, сыночки, по коням!

– Спасибо, мать кормящая, – поклонился повару Валера.

– Приходите еще, не стесняйтесь, дорогие гости, – заулыбался Петя.

– Что в журнале записать, батя? – спросил Маслов.

– Прокладки, – хмуро ответил Гаврилов, не в силах отвести взгляда от окурка, который после него досасывал радист. – Запиши, что Плевако не сменил, а Гаврилов, сукин сын, не проверил. И про разбитые горшки – наши потери – запиши, чтобы главбуху доставить развлечение.

– Ты, друг, не обижайся, – натягивая на голову подшлемник, сказал Леньке Игнат. – Ну, ляпнул сгоряча.

– А я и не обижаюсь! – вызывающе ответил Ленька. – Думай только, когда говоришь, понял?

– Хорошо, хорошо, – дружелюбно сказал Игнат.
И походники разошлись по машинам.

Ленька Савостиков

Не бывать бы Леньке в Антарктиде, если бы за него, родного племянника, слезно не молила Катя. Очень не хотелось Гаврилову брать Леньку, но ни в чем он не мог отказать жене. Для виду поупрямился, поворчал и уступил. Полина, Катюшина сестра, в голос выла, просила зятя возвратить сына человеком. Гаврилов сердился – Антарктида, мол, не исправительная колония, но в глубине души был польщен. Пообещал, что проследит, выбьет дурь из ветреной головы. Сестры наделяли его чрезвычайными полномочиями, а Ленька слушал и ухмылялся. Против Антарктиды, впрочем, он не возражал: слава, нагрудный значок да деньги, и, говорят, немалые. Великодушно позволил себя оформить и поехал на край света – превращаться в человека, как докладывал друзьям на проводах.

А Леньку брат Гаврилов не хотел потому, что в его глазах племянник жены имел два крупных недостатка. Во-первых, был писанным красавцем, а к этой разновидности людей Гаврилов вообще относился с подозрением; во-вторых, в недавнем прошлом боксером, даже мастером спорта. А спортсменов, особенно именитых, Гаврилов не слишком-то уважал. Хотя сам он не без удовольствия смотрел матчи по телевизору и слегка болел за «Зенит», но не мог понять спортсменов, тратящих немалую энергию столь, на его взгляд, бессмысленно. Когда ему доказывали, что спортивные зрелища дают тысячам людей необходимую им разрядку, он не спорил, но шутливо ссылаясь на свое «крестьянское воспитание»: мол, с детства приучен уважать лишь тех, кто делает работу. За такие отсталые взгляды Васютка сгоряча обозвал папу «вымирающим мамонтом», что рассмешило Гаврилова до слез.

Впрочем, своему десятилетнему первенцу он готов был простить все.

Ленькины же «подвиги», о которых в семье ходили легенды, Гаврилова не очень волновали. Слушая сетования сестер, он посмеивался, а когда Катя сердилась на такое его легкомыслие, тут же признавал свои ошибки. И думал, что четверть века назад он бы из этого парня сделал лихого танкиста. Хотя и в Антарктиде случаются такие переделки, что вся пыль с человека слетает и раскрывается его существо. А что касается Ленькиных «подвигов», то женщин там нет, собутыльников днем с огнем не найдешь, нос задирать не перед кем. Тогда и посмотрим, мужик ты или тряпка.

Так Гаврилов, отбросив немалые сомнения, ваял Леньку с собой. Решил пристроить его в Мирном, не брать сразу в поход. Но перед самым выходом Мишке Седову вырезали аппендикс, и волей-неволей пришлось Гаврилову вместо надежного механика-водителя посадить на тягач племянника.

А был Ленька Савостиков удивительно хорош собой: под метр девяносто ростом, и фигура такая, что на пляже магнитом женские взгляды приковывала, и шея, запросто выдерживающая целую гроздь девчонок, буйные русые волосы, белозубая улыбка и шальные голубые глаза. Рядом с Ленькой парни нервничали и инстинктивно старались увести подальше от него своих подруг. И наверное, правильно делали, потому что было в Леньке что-то такое, что давало ему непонятную власть над женщинами.

В семнадцать лет Ленька был чемпионом по боксу среди юношей, его портреты печатали в газетах, его узнавали на улицах. Спортивные журналисты восторженно описывали игру ног, нырки и сокрушительные крюки чемпиона, а несколько тренеров веселили публику спорами о том, кто открыл Савостикова. В школе с ним почтительно здоровался за руку директор, мальчишки на улицах просили автографы, а девчонки, которые год назад не обращали на долговязого подростка никакого внимания, пускали в ход все свое нехитрое искусство, чтобы похвастаться таким поклонником. Год славы сделал из него законченного эгоцентриста; в газетах он читал лишь заметки о себе, обижался, когда писали мало, и соглашался с теми, кто считал его исключительным явлением.

Его новый тренер, сам известный в прошлом спортсмен, знал цену подобным восхвалениям, посмеивался над ними и учил своего воспитанника с юмором относиться к таким заголовкам, как «Всепобеждающая улыбка юного чемпиона». Ленка делал вид, что так к славе и относится, но, изучая в большом зеркале гардероба свое отражение, думал о том, что тренер просто завидует; нигде, даже в кино, Ленка не видел такого мощного и в то же время пропорционального тела, такой обаятельной улыбки.

Мать, работница-ткачиха, потерявшая мужа в конце войны, гордилась сыном и со вздохом подмечала взгляды, которые бросали на ее ребенка взрослые женщины.

Проснулся Ленка поздно, в восемнадцать лет, когда его сверстники уже бахвалились своими скромными и большей частью выдуманными победами. Но пробуждение это было столь бурным, что отныне мать позабыла, что такое покой.

Учился он тогда в десятом классе, перекачивался из четверти в четверть на тройках – благодаря заботам директора, который, как и многие люди умственного труда, преклонялся перед физической силой. Учителя бунтовали на педсоветах, доказывали, что гастролер Савостиков портит коллектив класса, но директор напоминал о престиже школы, и они со скрипом исправляли двойки на тройки. Лишь Татьяна Евгеньевна, молодая, только что с институтской скамьи учительница химии, отказывалась от компромиссов. Ей и было суждено сыграть неожиданно большую роль в судьбе Савостикова, который и самому себе боялся признаться, что из-за желания увидеть Татьяну Евгеньевну он уже пропустил несколько тренировок. И вот однажды на уроке химии Ленка, совсем забывшись, уставился на учительницу горящими глазами, в голове его звенело. Было, наверное, в его взгляде что-то нескромное; Татьяна Евгеньевна вспыхнула, вызвала гастролера к доске и несколькими колкими вопросами сделала из него посмешище.

– Что же вы молчите? – иронизировала она под хихиканье класса. – Кулаками легче работать, чем головой, правда? Нечего сказать, да?

Здесь и разразился скандал. Никто еще безнаказанно не смеялся над Савостиковым!

– Почему это нечего? – облизнув пересохшие губы, весело сказал Ленка. – Можем и ответить.

Он подошел к учительнице, рывком поднял ее на руки, крепко прижал к груди и поцеловал в губы.

За дикую выходку Ленку выгнали из школы, но без дела он проболтался недолго. Как раз подошло время, и его призвали в армию. Правда, оставили в Ленинграде – проходить службу при спортивном клубе. Так что поначалу Ленкина жизнь если и изменилась, то к лучшему. Вечно окруженный толпой приятелей и поклонниц, он прожил едва ли не самые приятные в своей жизни полтора года. Удача так и плыла в Ленкины руки: блестящие победы на ринге будоражили прессу, спортсменки готовы были идти и шли за ним по первому зову.

На тренировках все чаще появлялись заплаканные девчата, иные и вовсе перестали приходить. Ребята Ленку усовещали, но без особого успеха. Так продолжалось до тех пор, пока не бросила спорт и не уехала в другой город чемпионка по плаванию, на которую возлагались большие надежды. Это был уже перебор. Потеряв терпение, начальник клуба согласовал с кем надо наболевший вопрос, и рядового Савостикова – в армии приказов не обсуждают! – направили проходить службу в часть на далекий северный остров.

На этом острове, состоявшем из скал, льда и пурги, некому было очаровываться Ленкиной физиономией, мало кого интересовал значок мастера спорта, и с утра до ночи под командой замухрышки сержанта рядовой Савостиков строился, драил автомат, зубрил материальную часть и пилил на воду снег. Зато – нет худа без добра – выучился работать на тракторе и вездеходе, приобрел специальность. Впрочем, это обстоятельство для Ленки цены не имело: он был уверен, что дорога ему суждена другая. Но, будучи парнем не глупым, старался не очень высказываться по этому поводу и вел себя скромно.

Закончилась служба, Ленька вернулся домой и, не теряя времени, принялся наверстывать упущенное. Сил у него не убавилось, быстрота и реакция вернулись после нескольких месяцев тренировок, и о Савостикове снова заговорили. В составе сборной он побывал в нескольких зарубежных турне, привез оттуда газеты со своими фотографиями и замшевые куртки.

Избалованного успехами Леньку несло по течению. Ему казалось, что этому празднику не будет конца. Но вот одно за другим случились два события, напрочь разорвавшие цепь удач.

Сначала его жестоко избил молодой боксер-перворазрядник, новая восходящая звезда, как окрестили его репортеры. Ленька и раньше проигрывал иногда бои, но не столь позорно и безоговорочно. Дважды во втором раунде он побывал в нокдауне и с трудом дотянул до гонга – как оказалось, зря, потому что в начале третьего раунда пропустил сильнейший удар в солнечное сплетение и очнулся уже за канатами. Это поражение повлекло за собой тяжкие последствия: нокаутированному боксеру в течение года запрещается выступать в соревнованиях, и Леньку отчислили из сборной команды. «Друзья» не отказали себе в удовольствии прислать ему газетные вырезки, где клеймился «перспективный в прошлом», «не соблюдавший спортивного режима», «задравший нос» и «плюющий на честь коллектива» Савостиков.

Отстраненный от соревнований и связанных с ними поездок, Ленька вставал теперь в шесть утра по будильнику, ехал в переполненном трамвае за Нарвскую заставу на стройку, куда он устроился на работу, и вкалывал за рычагами бульдозера полновесных восемь часов, от звонка до звонка.

После такого рабочего дня тренироваться было трудно и неинтересно. Ленька выходил из формы, пропадала реакция, отяжелели ноги. Кое-кто ему сочувствовал, кое-кто злорадствовал, а тренер все чаще смотрел на своего бывшего премьера с открытым сожалением. «Отработанный пар», – услышал Ленька как-то за своей спиной. Его гордость страдала, и он махнул на спорт рукой.

В это время произошло и второе событие. На одной лестничной клетке с Савостиковыми в однокомнатной квартире жила Вика, студентка-медичка. Родители ее, инженеры-геологи, завербовались на три года и уехали на Север искать золото. Вику, скромную и приветливую, в доме любили, и даже на абонированных пенсионерами скамейках ее доброе имя под сомнение не ставилось. Была она ни хороша, ни дурна собой. Маленькая, аккуратная, с большими и серьезными карими глазами, она могла бы, пожалуй, заинтересовать ребят, не очень избалованных женским вниманием, если бы не отпугивала их своей строгостью.

Хотя Ленька встречал Вику чуть ли не ежедневно, он ее не замечал, здоровался и проходил мимо. Эта девушка для него не существовала, она просто являлась принадлежностью дома вроде ворчливой лифтерши Кирилловны: слишком разительной была разница между красотками, продолжавшими домогаться его внимания, и «пигалицей», как снисходительно называл ее Ленька. Он бы, наверное, расхохотался, если бы узнал, что мать, которая с симпатией относилась к соседке и частенько угощала ее пирогами, тайком мечтает о Вике как о невестке. Впрочем, мать была достаточно дальновидна и о своих матримониальных планах не распространялась.

Однажды вечером она попросила сына помочь Вике установить холодильник, доставленный из магазина. Ленька зашел к соседке, мигом выставил на лестницу двух грузчиков, клянчивших «на бутылку» за уже оплаченную работу, и без труда втащил «ЗИЛ» на кухню. Ленька был в безрукавке, мускулы его играли, и он не без удовольствия уловил восхищенный взгляд девушки.

– Вы сильный, – сказала Вика и нахмурилась, потому что Ленька игриво улыбнулся. – Большое спасибо, всего хорошего!

Вика шагнула к двери, халатик ее распахнулся, и Ленька тут же отметил, что у пигалицы стройные ножки.

– За спасибо не выйдет, на чаек бы с вашей милости, – пошутил он. Вика растерялась.

– Я имею в виду самый натуральный чаек, – улыбнулся Ленька. – Или кофе.

Уже через несколько минут Ленька пожалел, что напросился в гости. Вика слушала его разглагольствования о боксе и киноактрисах вежливо, но без любопытства и даже, как ему показалось, с затаенной насмешкой. Неприятно задетый, Ленька пустил в ход весь свой арсенал: улыбался, бросал обволакивающие взгляды, как бы случайно дотрагивался до руки девушки, но все эти испытанные приемы на Вику не действовали. Более того, глаза ее стали холодными и враждебными, а когда Ленька попытался дать волю рукам, она спросила в упор:

– Вы и в самом деле считаете себя неотразимым?

Ленька смешался и глупо ответил что-то вроде того, что до сих пор осечек у него не бывало.

– Ну, тогда вам просто везло, – отчеканила Вика и встала. – Мне о вас соседи уши прожужжали, я думала, что познакомлюсь действительно с интересным человеком, а вы, извините, грубое животное!

Ленька ушел униженный и побитый, как после нокаута. В нем что-то надломилось. Он ожесточился, начал выпивать и, чего раньше с ним не бывало, затеял несколько безобразных драк. К счастью, начальник отделения милиции, куда несколько раз приводили Леньку, оказался его старым болельщиком и протоколов не составлял, ограничивался отеческим внушением, но рано или поздно и его терпению мог прийти конец.

Леньке было плохо. Работа бульдозериста не приносила удовлетворения, сдать на аттестат зрелости он так и не удосужился, будущее казалось бесперспективным. Все уходило в прошлое: слава, обаяние юности, удача. Он вспоминал хлесткое, как удар открытой перчаткой: «... вы, извините, грубое животное!» – и с горечью думал, что никогда еще его так сильно не били.

Угнетало и чувство вины перед матерью, которая тяжело переживала его падение. Ее здоровье заметно пошатнулось, и Ленька страдал. Поэтому и на Антарктику согласился легко, тем более что возвращение с такой почетной зимовки должно было вновь привлечь к нему внимание – в этом Ленька не сомневался.

* * *

Тягач полз по утрамбованной колее, его рев сотрясал барабанные перепонки, и оттого на ходу как-то забывалось, что ты находишься в самом тихом и пустынном уголке планеты. В кабине было жарко, градусов за тридцать. Ленька сбросил шапку, чуть опустил стекло на левой дверце и, не отрываясь, смотрел, как говорили водители, «на Антарктиду», чтобы не сбиться с колеи.

Первое время рычаги не слушались его, и тягач то и дело сползал в сторону. Если он буксовал в сыпучем снегу, или садился по пузо в рыхлый, Гаврилов вытаскивал застрявшую машину на буксире. Однако, пройдя путь до Востока, новичок набрался опыта и орудовал рычагами не хуже других.

И вообще до обратного похода Ленька на жизнь не жаловался. Сорок дней морского путешествия к берегам ледового материка на комфортабельном теплоходе «Профессор Визе» запомнились, как хороший отпуск. В декабре, когда ленинградцы мерзнут в пальто, Ленька загорал в тропиках, купался в бассейне, разгуливал в белых джинсах по Лас-Пальмасу и с размахом тратил валюту на ледяное пиво и кока-колу.

Товарищи приняли его – не только такие же, как он, первачки, но и старые полярники, допускавшие в свою замкнутую касту не всех и не сразу. Ленька, когда того хотел, мог произвести впечатление: он быстро нашел верный тон и определил линию своего поведения. Он понял, что настоящим мужиком полярники считают не того, у кого самые сильные мышцы, а того, кто показал себя в деле «достойным носить штаны»: весом чуть больше трех пудов летчика Ананьина, который мог лихо сесть на торосистую льдину размером с половину фут-

больного поля, взлететь, перескакивая через трещины, и «на честном слове» дотянуть до базового аэропорта обледеневший самолет; братьев Мазуров, которые мало бы чего стоили в глазах Ленкиных приятельниц, но без которых не шел ни в один поход Гаврилов; скромного и входящего в дверь последним Семенова, обветренного пургами Крайнего Севера закаленного стужей трех зимовок на Востоке. Это были настоящие мужчины, достойные уважения; таких, составлявших полярную элиту, на «Визе» было десятка полтора, и они приняли Ленку. Во многом, конечно, благодаря его родству с Гавриловым, но и не только поэтому: красивый истинной мужской красотой богатырь, открытый и общительный, известный по фотографиям и ни словом не заикающийся об этой известности, Ленка пришелся по душе новым товарищам. Того, чего боялся Гаврилов, не произошло: вел себя племянник тактично, пыль в глаза никому не пускал и за все сорок дней плавания про штрафовался только раз, когда пытался приударить за буфетчицей кают-компания. Гаврилов жестоко его изругал, и Ленка отказался от столь опасного на судне соблазна.

Не подвел племянник и в деле, когда «Визе» по пробитому «Обью» каналу подошел к Мирному и пришвартовался у припая. В разгрузку Ленка работал за четверых, сутками гонял трактор по неверному льду, и даже Макаров, от которого похвалу можно было услышать раз в году, и то в високосном, благосклонно пошутил насчет «гавриловской крови». Хотя «кровное» родство между дядей и племянником отсутствовало, довольный Гаврилов не стал поправлять начальника экспедиции и послал сестре жены радиogramму, которая принесла матери радости больше, чем вся популярность, завоеванная сыном на ринге.

И в походе на Восток Ленка проявил себя неплохо. Правда, технику он знал слабо и один раз чуть не расплавил подшипники коленчатого вала, забыв добавить масла из дополнительного бака в рабочий. К счастью, тягач застрял в метровых застругах, и Ленка заглушил двигатель; еще немного, и машину пришлось бы бросить: отремонтировать ее в условиях похода было бы невозможно. С того дня Ленка не забывал следить за манометром и на каждой остановке проверял щупом, сколько масла осталось в рабочем баке, и за пальцами на гусеничных траках ухаживая, как когда-то за своей прической, и трогался с места только на первой передаче. Понемногу привык, освоился. И если секретов ремонта двигателя так и не постиг, то его физическая сила в походе очень пригодилась. Ленка запросто перетаскивал бочки с маслом, без усталости махал кувалдой и, не ожидая просьб, выполнял другую работу, требовавшую большой затраты сил.

Он вырос в собственных глазах, самоувердился, потому что приобрел то, чего ему в последнее время не хватало. Пожалуй, думал он, уважение этих ребят заслужить потруднее, чем восхваления репортеров.

Ленка ловил себя на том, что стал по-иному оценивать людей. Гаврилова, например, денежного дядю, не раз помогавшего матери сводить концы с концами, он раньше считал чудачком: есть дача, машина, жена и дети, директор Кировского завода лично звонит, предлагает хорошую должность, а дядя Ваня идет на старости лет в полярку. Теперь, увидев Гаврилова в деле, разобрался, понял, что он за человек. И бывших дружков своих переоценил – с большой уценкой. Не то чтобы его к ним совсем не тянуло и чтобы не хотелось вновь окунуться в праздничную атмосферу большого спорта. Окунуться окунулся бы, но с оглядкой, с пониманием того, что есть в жизни вещи посolidнее...

Однако больше всего Ленку поражало то, что медленно и верно его душой завладевала маленькая и не очень эффектная девушка, пигалица, дурнушка по сравнению с теми, кто почитал за честь пройти с ним под руку. Он вспоминал о ней со стыдом и растущей, незнакомой ему нежностью и подумывал о том, что по возвращении постарается доказать, что не такой уж он конченный...

С таким настроением Ленка пришел на Восток.

Лишних спальных мест на станции не было, и походникам приходилось ночевать в своих балках. Соседом Леньки по нарам оказался Василий Сомов, не лучший сосед, какого можно было бы пожелать, ибо Василий был сух, замкнут и феноменально скуп – качество, совершенно уж презируемое полярниками, привыкшими свой кошелек вытаскивать первыми. Когда на стоянке в Лас-Пальмесе ребята наслаждались пивом и шашлыками, Сомов жевал захваченную с собой сухую колбасу. Курил он преимущественно чужие папиросы, на радиogramмы тратился по праздникам – словом, был законченным жмотом. Не будь Сомов отменнейшим, едва ли не лучшим в отряде механиком-водителем, вряд ли Гаврилов брал бы его в походы.

Сомов и разбередил Ленькину душу несколькими вскользь брошенными словами.

Случилось это в последнюю ночь на Востоке, когда вся станция замерла в ожидании двух последних самолетов. Спали в эту ночь плохо. В Ленькином балке на верхних нарах чуть слышно шептались Тошка Жмуркин и Валера Никитин. Смысл обрывочно доносившихся фраз Ленька понять не мог, но чувствовалась в них смутная тревога, отчего и самому Леньке вдруг стало как-то тоскливо. Он с головой влез в спальный мешок и попытался уснуть, однако сон никак не приходил, Ленька высунулся из мешка и с неудовольствием вдохнул табачный дым: Сомов курил, хотя обитатели балка с самого начала решили этого не делать. И без того от печки-капельницы несло солярным духом, дышать нечем.

- Свой? – с наивозможнейшим сарказмом спросил Ленька.
- Свой, – вздохнул Сомов.
- Не накурился за день?
- А тебе какое дело?
- А такое, что договаривались. Договор дороже денег, усвоил?
- На том свете взыщешь, – проворчал Сомов.
- Помирать собрался?
- Здоровый ты, парень, а глупый. Походил бы с мое...
- Ну и что?
- А то, что пиши, парень, завещание...
- Это почему? – с вызовом спросил Ленька.

Сомов не ответил, погасил о стенку балка сигарету и укрылся с головой в мешке.

Давно кончили разговор, похрапывали наверху Тошка и Валера, глухо покашливал во сне Сомов, а Ленька никак не мог забыться, охваченный тревожным предчувствием. Он припомнил отдельные реплики, намеки, что слышал в последние дни, объединил обрывки ничего вроде не значащих фраз в одну цепочку, и перед ним все более отчетливо стала обрисовываться безнадежность предстоящего похода. Да, безнадежность! Зря Макаров не пошлет такую радиogramму и Семенов не станет понапрасну обрабатывать Гаврилова – «возвращайся, Ваня, самолетом». И мысль о том, что он в свои двадцать пять лет может погибнуть, ужаснула Леньку. Он представил себе мертвый, занесенный снегом поезд, свой заглохший навеки тягач и себя, скрученного последней судорогой. Ленька прогонял от себя это видение, старался думать о разных приятных вещах, ждущих его по возвращении домой, но страх, вползший в него исподтишка, не уходил. На любые трудности готов был Ленька, на любые муки, только не на неизвестную смерть!

Всю жизнь он любил быть на виду, красоваться перед людьми, вызывать зависть и восхищение. На людях он мог совершить любой подвиг, если бы в это время на него смотрели и восторгались его мужеством и геройством. Во время разгрузки «Оби», когда с тридцатиметровой высоты на лед полетел многопудовый ящик, Ленька успел отбросить в сторону матроса, которого через долю секунды расплющило бы в лепешку. Люди смотрели! Когда Коля Роцин провалился с трактором под лед, Ленька бросился без раздумий в ледяную воду. Люди смотрели! Это было для Леньки важнее всего. Он и в Антарктиду пошел потому, что об этом будут знать люди. Только так. Скажи ему, что сцену его гибели покажут по телевидению, Ленька

мгновенно воспрянул бы духом. Но погибнуть безвестно, навсегда остаться в белом безмолвии или, если их найдут, упокоиться на братском кладбище острова Буромского у Мирного!

Гордость не позволила Леньке сказать свое слово во время голосования, он смолчал. Но с той минуты, когда последние два самолета улетели, уверенность покинула его.

В первые дни похода поезд шел довольно быстро, километров по тридцать в сутки, и временами Леньке казалось, что тревога его пустая. Но когда морозы перевалили за шестьдесят и раскрылась скверная история с топливом, Ленька сник. Помрачнел, стал молчалив. Глаза глубоко ввалились, железные бугры мускулов опали. До помороженных щек было больно дотрагиваться, пальцы распухли и еле сгибались в суставах. Рыжеватая шкиперская борода, по общему мнению очень шедшая ему, сваялась и торчала безобразными ключьями. Впрочем, Ленька не знал об этом, поскольку давно не умывался, не смотрелся в зеркальце и даже где-то его потерял.

А до Мирного оставалось больше тысячи километров пути.

Всем было плохо. Втайне от всех сосал валидол Гаврилов, еле переставлял помороженные ноги Петя Задирако, и кашлял с кровью Валера Никитин. Всем было плохо, но от сознания этого Леньке не становилось легче.

Он вел тягач, отрешенно смотрел перед собой и с тоскливой покорностью ждал очередной поломки. С Востока, уступив наплыву чувств, послал Вике радиограмму: «Ответь одним словом, можно ли тебе писать», и сегодня в обед Борис Маслов сунул ему маленький листочек с двумя словами: «Да. Вика». Получи он этот ответ на Востоке – наверное, был бы счастлив. А сейчас равнодушно скользнул до листку глазами и сунул в карман.

Худший враг человека – безнадежность.

Смотрел Ленька перед собой, на темневший впереди тягач Валеры Никитина, на усеянное холодными, блестящими звездами черное небо, и внезапная жалость к самому себе полоснула его по сердцу.

И он заплакал.

Валера Никитин

Тридцать километров, оставшиеся до Комсомольской, шли трое суток. И произошло это, как в шутку упрекали Гаврилова ребята, из-за его неосторожной реплики за обедом о пяти-шести часах пути до станции. Не имел он никакого права так говорить. Подумать про себя – пожалуйста, но произносить такое вслух ни один настоящий полярник себе не позволяет, так как человеческий расчет оскорбляет Антарктиду, побуждает ее указать человеку его место. Полярники – народ по-своему суеверный, их зависимость от Антарктиды слишком велика, чтобы пренебрегать внешними формами уважения к ее возможностям. По шуточному ритуалу, если кто-то случайно оговорится, как это произошло с Гавриловым, товарищи должны тут же его поправить, постучать по дереву и трижды сплюнуть через плечо. Тогда Антарктида, может, и простит послушнику его дерзость.

Но Гаврилова никто не поправил, и к морозам, которые перевалили за семьдесят, добавил ветер десять метров в секунду. Такие совпадения случаются крайне редко, потому что природа, будучи гармоничной, самые жестокие свои кары старается распределять более или менее равномерно. Так, в центральной Антарктиде с ее сверхнизкими температурами почти нет сильных ветров, а в Мирном и вообще на побережье, где метели достигают ураганной мощи, морозы гораздо слабее.

Валера Никитин поругивал батю, но не за оговорку, конечно, а за то, что вынужден был уступить Давиду своего стажера. Тошка брал на себя главное бремя ремонтов. Теперь с мелкими поломками Валера должен был справляться сам. А чувствовал он себя скверно: то ли застудил легкие, то ли просто сказывалась горная болезнь, но его одолевал тяжелый кашель с красными прожилками в мокроте. Десяток инъекций пенициллина облегчения пока не принесли.

– Вернемся, – пообещал доктор, – отведу тебя в парную, самолично исхлещу веником, а потом уложу в медпункте – заметь – на чистую простыню, напою чаем с малиной, и наутро встанешь как новенький!

Сказка? Неужели где-то есть такая жизнь?

– Загибаешь, Шахерзада, – отмахнулся Валера. – Парная, чистая простыня, чай в постельку... Эй, стража! Вырвать у лгуна его коварный язык!

Лет пятнадцать назад, припомнил Валера, в двадцатиградусный мороз мать не пускала его в школу. Что бы мамаша сказала, если бы увидела своего сына, выползающего из кабины пред ветром, словно автогенном режущим тело? Наверное, упала бы в обморок. Хотя теперь вряд ли...

Застопорила «Харьковчанка», что-то стряслось у Игната. Поезд остановился, придется выходить. Заманчиво, конечно, отсидеться в теплой кабине, а то и вздремнуть, пока Игнат не исправит повреждение, но нужно проверить пальцы. Будь они прокляты, эти стержни, соединяющие траки в гусеничную ленту. Полуметровые, а лопаются, как спички. Недосмотришь, палец выскочит – и гусеничная лента разматается, как змея.

Валера надел подшлемник, ушанку, для страховки обмотал лицо шарфом, поднял капюшон каэшки, как называют полярники свои теплые, на верблюжьем меху куртки, и вылез из кабины. Тут же подставил ветру спину, но мороз все равно добрался до глаз, чуть не склеив ресницы, прокрался к запястьям (сколько ни говорили насчет рукавиц – все равно шьют короткие) и сковал дыхание. Валера постоял, унял бешеный стук сердца, взял молоток и стал осматривать ленту. Так и есть, вылезли головки двух пальцев. Спасибо, Игнат, вовремя остановился. Теперь нужно хорошенько подумать, как половчее произвести замену. На мгновение мелькнула соблазнительная мысль: осторожно вбить головки назад – авось продержатся до следующей остановки, а там уже поставить новые пальцы. Иногда ребята так и делали, если очень

сильно уставали. Но это было рискованно, да и батя, если догадывался, за такие «шалости» пощады не давал.

Валера отошел от колеи влево, посмотрел: все водители хлопотали у лент, у всех одно и то же... А пальцы, как на грех, лопнули под вторым и третьим катком. Пришлось чуть проташить тягач вперед, с таким расчетом, чтобы сломанный палец оказался в провисающей части гусеницы, между ведущей звездочкой и передним катком. Нагнулся, тихонько выбил молотком головку. Теперь предстояло самое тяжелое: вставить в отверстие новый палец и вколотить его кувалдой, выталкивая остаток сломанного.

Перед такой работой желательно передохнуть, кувалда полупудовая, помахай ею на высоте в три с половиной километра! Валера прокашлялся, наладил дыхание и три раза ударил по головке. Все, стой и жди, пока сердце не перестанет отбивать чечетку. Еще три раза – и опять стой и жди. Еще два, еще один... Кувалда вывалилась из ватных рук, глаза застелила оранжевая пелена, а жидкий воздух отказывался насытить легкие.

Минут за двадцать вбил палец, вскарабкался, как старик, в кабину и рухнул на сиденье. Полежал, пришел в себя. Потом залез под тягач, вставил в проточку пальца два «сухарики», закрепил их шайбой и шплинтом. Голыми руками, потому что «сухарики» крохотные, толщиной в три миллиметра, рукавица их не учует.

На семидесятиградусном морозе – голыми руками!

С мясом ребята отрывали руки от железа. Доктор мазал рваную кожу бальзамом, бинтовал, только помогало это, как заявил Тошка, не больше, чем дохлой дворняге витамины.

Зашплинтовал – и быстрее в кабину. Отогрелся, вновь проташил тягач и пошел менять второй палец. Вставил стержень, поднял кувалду, которая, казалось, весила теперь целый центнер, ударил – мимо... И так обидно стало Валере за этот промах, будто совершил он трагическую и непоправимую ошибку. Обругал себя последними словами, прицелился, ударил – мимо... Бессильный, прислонился к тягачу, в голове роились малодушные мысли. Снова обругал себя, встряхнулся, присел на корточки, чтобы поднять кувалду, и... очнулся от частых и равномерных ударов по металлу – Ленка вбивал второй палец!.. Семь... десять... пятнадцать ударов подряд! Вбил, забрался под тягач, зашплинтовал, кивнул Валере и пошел к Сомову – помогать.

Спасибо, Ленка, хороший ты парень, выручил. Просить бы тебя, конечно, не стал, но спасибо. Сегодня ты, завтра я, за нами не останется. Честно скажу, не очень ты мне нравился, но человеку свойственно ошибаться, может, и я в тебе ошибся.

В кабине было тепло, тянуло в сон. Жаль, но придется приоткрыть окно, иначе одуреешь. Руки ватные, ноги ватные, голова чугунная... Бате еще хуже. Думает, не знаем, что валидол из аптечки таскает. Еще в прошлом походе батя запросто расправлялся с пальцем, ворочал бочки и на заготовке снега орудовал ножовкой, как дисковой пилой. Не тот стал батя. Пятьдесят лет и три дырки в груди – многовато для одного человека, если даже он такой богатырь, как батя.

Пошла вперед «Харьковчанка», двинулись за ней тягачи. «Эх, дороги, – вспомнилась песня, – ...знать не можешь доли своей...»

Это, пожалуй, хорошо, что ее не знаешь, подумал Валера. Слишком мал человек и хрупок, щепка в житейском водовороте. Кто это сказал, что человек – хозяин своей судьбы? Извините, дорогой товарищ, с таким же основанием я могу утверждать, что хозяин моей судьбы Синицын. Подготовил он топливо, что в цистерне на Комсомольской, – с песней рванем к Мирному, не подготовил – потащимся, мурлыкая про себя жизнеутверждающую мелодию Шопена.

Впрочем, возразил себе Валера, если размотать цепочку, то свою судьбу определил он сам. Было, конечно, всякое, но последнее слово сказал он.

Валера соскучился по разговору с самим собой и поэтому перестал жалеть о том, что рядом нет Тошки. В походе с ним весело и легко, но бывает, что человеку хочется немного одиночества, хотя бы на часок-другой. Помечтать о прекрасном будущем, о встрече с Машень-

кой, отцом, близнятками... Батюшки, послезавтра им по восемь лет, чуть не забыл! На первой же остановке дать радиограмму!

Валера расстегнул каэшку, вытащил из кармана кожаной куртки фотокарточку в твердом целлулоидном футляре. Машенька, сероглазка ты моя нежная, незабудки мои ненаглядные... «И залезли мне в сердце девчонки, как котята в чужую кровать!»

Слух у Валеры был скверный, и свою любимую песню он напевал только про себя. Напевал – и разматывал цепочку.

Из своих двадцати девяти лет девятнадцать он прожил весело и благополучно: вкусно ел и мягко спал, в день совершеннолетия получил от матери нового «Москвича». Не жизнь, а ковровая дорожка, по которой мама вела сыночка за ручку. Родительница была профессором-биологом, директором научно-исследовательского института. Зарабатывала солидные деньги и щедро тратила их на единственное чадо, требуя взамен сыновней любви и послушания – условия, которые не слишком тяготили Валеру.

Отец роли в семье не играл. Работал где-то младшим научным сотрудником и почти всю зарплату тратил на марки, короче, был чудаком и неудачником. Когда к жене приходили гости, никому на глаза не показывался, покупал продукты и готовил себе отдельно, лишь изредка великодушно соглашаясь на вечерний чай в кругу семьи. Выпив чай, с явным облегчением говорил «спокойной ночи» и уходил к своим маркам – единственному, что любил по-настоящему. К сыну он относился с ироническим равнодушием. Мать смотрела на своего мужа с некоторой жалостью, в глубине души презирая его и проклиная, наверное, ту минуту, когда глупой третьекурсницей объяснилась в любви красивому дипломнику. Что приключилось с отцом, почему он начисто лишен честолюбия, равнодушен к успеху, столь ценимому другими людьми, Валерий в точности не знал; слышал только, что отец что-то изобрел, опрометчиво, как считалось, отверг авторитетное предложение о соавторстве и такое «негибкое» поведение очень ему в свое время повредило. Но отец об этом не рассказывал, мать тоже уводила разговор в сторону, и Валера перестал затрагивать столь щекотливую тему.

Учился он на химическом факультете университета, легко сдавал экзамены преподавателям, с большим уважением относившимся к Марии Федоровне Никитиной, словом, вел жизнь, которой многие завидовали. И сам Валера и все окружающие понимали, что дальше будет аспирантура, защита диссертации. Как ни странно, однако недоброжелателей у Валеры не было. Симпатичный и обаятельный, он вел себя просто и естественно, и никому в голову не приходило злословить по его адресу. Если уж, рассуждали ребята, кому-то и суждено въехать в будущее на белом коне, то пусть лучше это будет Валерка, чем кто-нибудь другой.

И вдруг эта весело журчащая река жизни с грохотом перешла в водопад.

Время от времени, отправляясь в гости к своим коллегам, мать брала сына с собой. Там бывали не только коллеги матери, ученые, но и артисты, писатели. Валера не без интереса слушал их споры, в ходе которых высказывались парадоксальные мысли, яркие идеи и остроумные гипотезы. Здесь каждый был индивидуальностью: Илья Петрович пополнил таблицу Менделеева, Григорий Иванович стоял рядом с Королевым, когда Гагарин делал первый виток вокруг земного шара, Мария Федоровна поставила уникальные опыты по синтезу белка, Сергей Павлович завоевывал призы на международных кинофестивалях, а Николай Валентинович сочинял имевшие успех стихи.

Много спустя Валера признавался самому себе, что, общаясь с этими незаурядными людьми, он научился самостоятельно мыслить. Но тогда он вряд ли по-настоящему ценил их, хотя и гордился тем, что «вхож» в их круг. Куда больше его привлекала соседняя комната, где собирались «потомки» и царила веселая молодость.

Здесь Валера познакомился с дочерью Ильи Петровича Ниной, немного взбалмошной, но пикантной и острой на язык особой лет двадцати. Бесенята, прыгавшие в ее глазах, смелая одежда и дразнящие слухи о ее современных взглядах на любовь делали ее весьма при-

влекательной. Нина охотно позволяла очередному поклоннику присоединиться к своей свите, давала ему надежду вскользь брошенным, но многообещающим взглядом и дурачила всех подряд, зорко высматривая себе, однако, будущего мужа. Валера показался ей подходящей кандидатурой: высокий, голубоглазый блондин, явно не глуп, с покладистым, даже телячьим характером, из хорошей семьи... Правда, говорили, что мальчик завязал на факультете роман с белобрысой волжанкой, но это Нину не беспокоило: она была уверена, что стоит ей пошевелить мизинцем, как теленок все бросит и примчится туда, куда укажет мизинец. Валера действительно прибежал, вздыхал и страдал, когда она «в воспитательных целях» шла в театр с другим, и светился от радости, когда наутро она звонила и милостиво разрешала отвезти себя в бассейн.

Но волжанку свою не бросил! Уделял ей и времени поменьше, и целовал рассеянной, и врать, жалея ее, научился, но – не бросил! С ума сходил по одной, а присыхал к другой. Почему – сам не мог понять, понял только потом, когда все свершилось: а потому, что в одну влюбился головой, в другую сердцем. Или потому, что одна ослепляла, а другая наивно и преданно любила. И еще: одна видела в нем вариант с порядковым номером один или два, а другой нужен был один-единственный на свете и больше никто – Валерка Никитин.

«Доброжелатели» доносили матери о волжанке, но Мария Федоровна только посмеивалась. С Ильей Петровичем все было обговорено и решено, присмотрели даже уютную квартиру – свадебный подарок.

Однажды, приехав домой раньше обычного, Валера услышал голоса отца и матери. Общались родители столь редко, что удивленный Валера невольно остановился и прислушался. Разговор шел о нем.

– Позволь решать это мне, – высокомерно говорила мать, – дорогу сыну проложила я.

– Верно, – подтвердил отец, – как бульдозер. Споткнется твой тепличный отрок на первой же кочке. Самостоятельно, полагаю, он решает только, в какую щеку поцеловать мамочку... Вспомни себя. Ты в свое время...

– Мы другое дело, – перебила мать. – Иные времена, иные песни. Мой сын должен иметь все, чего была лишена я. Мы с Ильей Петровичем позаботимся о том, чтоб им было хорошо.

– А тебе не приходило в голову, что вы, – с нехорошим смешком произнес отец, – сводите их, как породистых собак на племя?.. Что, грубо? Ладно, отставить собак... Ну, что вы, скажем, производите на строго научной основе брачный эксперимент, этакий синтез двух «отборных», но, черт побери, совершенно ненужных друг другу людей?..

– А что? – невозмутимо ответила мать. – Любовь – категория иррациональная, и попытка привнести в нее элемент логики...

Больше Валера ничего не слышал. Оглушенный, ушел в свою комнату и лег на диван. Сказано зло, но отец прав... И поощрительные улыбки матери, и добродушные реплики Ильи Петровича, и изощренное кокетство самой Нины предстали перед Валерой в новом свете.

Встал, подошел к столу, вытащил из ящика две фотокарточки. Вот они – рядом. Нина... Смуглое лицо с мальчишеской челкой, с улыбкой, отрепетированной до автоматизма, но все равно чарующей, сводящей с ума... И волжаночка, бесхитростная и открытая, с распахнутой душой...

По мере того как созревало решение, Валера успокаивался. Да, он сделает это или навсегда перестанет себя уважать.

Положил фотокарточки на место, выскользнул из квартиры, сел в машину и поехал в общежитие. Увидев его непривычно серьезным, еле сдерживающим волнение, Маша догадалась и побледнела. Не выдумывали, значит, что видели его с разлучницей. Что ж, чему бывать, того не миновать. Сейчас скажет, ударит, убьет наповал. Она тоскливо смотрела на Валеру, умоляла глазами: «Не надо, как-нибудь после, потому что ты еще не знаешь, что во мне твой ребенок, и если скажешь сейчас, то всю жизнь и не узнаешь».

А когда сказал – не поверила, а поверила – помертвела. Поплакала немножко, умылась, надела свое много раз стиранное платье и туфельки-гвоздики, из-за которых целый месяц сидела на хлебе и чае, увязала толстую русую косу и поехала, потерянная, с ним подавать заявление.

Родителям Валера показал уже паспорт со штампом.

Среди комплиментов, заслуженных и незаслуженных, женщины выше ценят незаслуженные. Марии Федоровне не раз говорили о ее редкой проницательности, о том, какой она тонкий психолог. Если бы это действительно было так, то, взглянув на лицо сына, мать поступала бы по-иному. А может, психология здесь была ни при чем, а просто имело место состояние аффекта.

– Ключи от машины, – протянув руку, сказала мать.

Валера отдал ей ключи.

– Деньги!

Валера вытащил бумажник. Мать оставила в нем сорок рублей, возвратила.

– Твоя стипендия, кажется? Разведешься – приходи. Будь здоров.

Наступало лето, теплая одежда была не нужна. Валера снял с себя дорогой костюм, надел тренировочные брюки и ковбойку, кеды, в которых ходил в турпоходы, и ушел не простившись.

Аборт жене делать запретил, учебу оставил и устроился в таксомоторный парк – сначала учеником, а потом водителем. Сняли они небольшую комнатку. Маша продолжала заниматься в университете, а он зарабатывал на жизнь. Худо ли, бедно, но хватало и на комнату, и на еду, и на скромные обновы.

Однажды к ним появился отец. Он с деланной иронией прошелся по адресу отошавшего сына, сострил насчет будущего внука и, поговорив о том о сем, сделал молодоженам совершенно неожиданное предложение: объединиться. Сообща сняли две комнатки, жить стало легче. Мало того, что отец умел и любил готовить, – он оказался умным и тонким собеседником. Все трое быстро стали друзьями. Поступок сына отец решительно одобрял.

Как-то Валера признался, что невольно подслушал тот самый разговор, сыгравший немалую роль в дальнейших событиях.

– Признание на признание, – выслушав сына, сказал отец. – Я впервые стал тебя уважать, когда ты хлопнул дверью. Откровенно: в дом, где бы ты обосновался с этой... юной хищницей, я бы не пришел... Ты слышал, наверное, от матери, что я неудачник. Неудачник я потому, что не решился в свое время поступить так, как ты. И тебя бросать не хотелось, и мать просила не ставить ее в ложное положение. В общем, проявил нерешительность... А ты молодец – сам свою жизнь решил строить? Купил тахту – твоя тахта, собственная. Кастриюлю сегодня приволок – твоя кастрия, за свои деньги купленная. Это, брат, очень важно, что за свои. Голодранцами поженились – жизнь красивее сложится, дети счастливее будут.

О бывшей жене отозвался так:

– Женщине положено от природы покорять мужчин красотой и нежностью, а не приказами через отдел кадров. А женщина с таким характером, как у твоей матери, да еще заполучившая в руки власть – настоящий бич божий, любое возражение кажется ей возмутительной дерзостью. Если увидишь, – пошутил он, – что Машенька стремительно выдвигается, немедленно разводишь!

Когда родились Оля и Катя, мать прислала коляску и игрушки. Подарки не были приняты. Тогда мать, улучив время, когда мужчины ушли на работу, приехала сама. Придирчиво осмотрела внучек, невестку. Спросила:

– Долго будешь дуться?

– Меня вы, Мария Федоровна, нисколько не обидели, я вам человек чужой. Сына обидели.

– А он, думаешь, меня не обидел?

– Вам виднее, Мария Федоровна.

– Так... Пора кончать эту историю... Для начала переезжайте на дачу, вечером пришло машину... Чего молчишь?

– Их дело, может, они и переедут. А мне и здесь хорошо.

– А ты, тетка, гордая штучка... Ладно. «Москвич» Валерия стоит у подъезда, мой шофер подогнал, вот ключи. Скажи, чтобы вечером навестил мать.

– Хорошо, скажу.

Мать поцеловала спящих внушек, холодно кивнула невестке и уехала. А вечером вместе с газетами достала из почтового ящика ключи от машины и короткую записку: «Спасибо, мама, не беспокойся, мы ни в чем не нуждаемся. Будет время – заезжай в гости. Валерий».

Оскорбленная, не простила. Так и не поняла, что пожалала то, что посеяла.

Вскоре Валерий был призван в армию и два года прослужил в танковых войсках. Там он познакомился с Гавриловым, который по просьбе генерал-лейтенанта, своего бывшего комбрига, приехал в гости к танкистам – рассказать про санно-гусеничные походы по ледовому материку, Гаврилову приглянулись три парня, которые после беседы попросили разрешения остаться и засыпали его вопросами.

– Загорелись?

– Так точно, товарищ гвардии капитан...

– ...запаса, – Гаврилов погрозил пальцем. – Не льстите. Когда демобилизуетесь?

– Через месяц, товарищ гвардии капитан запаса!

– Иван Тимофеевич, черти! Не раздумайте, приезжайте. – Гаврилов написал на листке адрес. – До встречи, что ли?

– Так точно, до встречи, Иван Тимофеевич!

И через полгода Валера Никитин и братья Мазуры осуществили свою мечту – пошли в трансантарктический поход.

Так что свою судьбу Валера определил сам.

Этот поход был уже третьим. Каждый раз получался трехлетний цикл: полтора года – Антарктида (зимовка плюс дорога), полтора года – дома. Пять-шесть месяцев – отпуск, год – работа в таксопарке. Окончил заочно автодорожный институт, куда перевелся из университета, получил диплом инженера-механика. Заработал в Антарктиде хорошие деньги, построил трехкомнатную кооперативную квартиру, принарядил Машеньку, а на положенную полярнику валюту накопил в Лас-Пальмсе близняткам таких игрушек, что в их комнате долго не утихал счастливый визг.

Огрубел, обветрился, плечи раздалились, походка отяжелела, ладони покрылись каменно-твердыми мозолями. От прежнего Валеры в нем ничего не осталось, разве что неизменная доброжелательность ко всем, кто в нем нуждался.

В прошлом году, загораая на сочинском пляже, он увидел Нину. Ее девичья прелесть исчезла без следа. Она шла по пляжу в сопровождении шумных поклонников; Валера сравнил ее с Машенькой, сильной, свежей и красивой в своем материнстве, и таким невыгодным для Нины оказалось это сравнение, что он испытал к ней острую жалость.

Да, Валерий сам принял решение, перевернувшее его жизнь, и гордился им. У него есть любимая жена и две дочки, замечательный отец. Если главное в жизни каждого человека семья и работа, то ему повезло и с тем и с другим.

А если и доведется погибнуть, то многие помянут его добрым словом.

Впрочем, погибнуть можно везде. Двадцатилетний Дима Крылов, шофер матери, погиб среди бела дня в Сокольниках, когда отгонял от перепуганной девушки пьяных хулиганов. Карасев, Валерин сосед по дому, здоровяк журналист тридцати пяти лет, неожиданно для всех умер от инфаркта.

А Гаврилов провоявал всю войну, прошел двадцать тысяч километров по Антарктиде и вчера за ужином размечтался: «Вот намотаю на спидометр тридцатую тыщу – и засяду на даче писать мемуары. Про вас, дармоеды!»

Нет, не собирается погибать Гаврилов, и не помышляют о загробной жизни его «адские водители»!

Мы еще поживем, думал Валера, нам еще с Машенькой сына нужно родить, для преемственности. Плохо только, что застудил грудь, если воспаление легких, тогда, наверное, хана. Но температура вроде не очень повышена, может, какая-нибудь ерунда, вроде бронхита. Если так, то еще «увидим небо в алмазах».

А кашель – с кровью... Случись такое в феврале, расчистили бы полосу на Комсомольской, в самолет – и домой, в Мирный. А в семьдесят градусов самолету не взлететь, да и летчики уже загорают в тропиках на верхней палубе... Хотя нет, по сводке – а Макаров не забывает, каждый день присылает поезду сводку работы всей экспедиция – «Обь» сейчас только подходит к станции Беллинсгаузена, недели через две будут загорать...

Тепло, хорошо в кабине, но придется вылезать – Сомов застопорил. Братья Мазуры не заметили, идут впереди, а ракет нет. Ничего, видимость хорошая, не пуржит, рано или поздно глянут назад.

Валера укутался, хорошенько прокашлялся и открыл дверцу кабины.

От последней остановки поезд прошел три километра.

Объяснение

Перед выходом из Мирного Тошка ярко расписал снаружи камбузный балок. На одной стенке был изображен императорский пингвин, чем-то неуловимо похожий на Петю Задрако. Одним ластом пингвин держался за живот, а другим совал в клюв бутылку с этикеткой «Касторка». Надпись гласила: «Заходи – угощу!» Противоположную стенку украшала жизне-радостная коровенка с рекламным стендом на рогах: «Вперед, вегетарианцы! Му-уу!», – а на торцевой стороне девушка в чрезвычайно экономном купальнике призывно восклицала: «Попробуй догони!» Гаврилов велел заменить эту безыдейную надпись на более выдержанную, однако Тошка дерзко ответил, что у него кончились белила.

Сначала при виде камбузного балка походники не могли сдержать улыбок, но потом при-выкли, а кроме них оценить Тошкино искусство было некому. К тому же солнечный диск выползал как раз в то время, когда поезд останавливался на отдых. Заманчиво было поглазеть на мир в свете уходящего дня, но еще больше манила постель. А потом темнело, и все краски становились на один цвет. Так что и страдающий животом пингвин, и развеселая коровенка, и ехидная девушка внимания больше не привлекали.

Встречи на камбузе три раза в сутки были для людей маленьким праздником. В походе камбуз – центр притяжения, столовая и клуб, единственное место, где люди могут собраться и посмотреть друг на друга. Шесть человек садились за откидной столик, остальные размещались по углам. В тесноте, да не в обиде.

Раньше на камбузе было тепло, электрическая плита поддерживала нужную температуру даже в сильные морозы. Но уже через неделю после выхода из Мирного камбузная электро-станция, работавшая на бензине, вышла из строя: двигатель гнал масло, оно горело, и в поме-щении нечем было дышать. Пришлось вместо электрической плиты ставить газовую, а на боль-шой высоте пропан сгорал не полностью, и камбуз приходилось часто проветривать. К тому же после пожара баллонов с газом оставалось в обрез, и газ следовало экономить. И если в пути камбуз получал тепло от двигателя тягача, то на стоянке в помещении было холодно и неуютно. Когда Сомов глушил двигатель, камбуз быстро покрывался инеем, и на потолке обра-зовывались сосульки. Температура, правда, ниже нуля не опускалась, но никто не раздевался, и даже Петя, несмотря на свою крайнюю, чуть ли не анекдотическую аккуратность, не снимал рукавиц, а белый халат надевал поверх каэшки.

Несмотря на это, ужин обычно проходил оживленно. Знали, что не масло и соляр сейчас греть пойдут, а себя в спальнях мешках – на семь законных и долгожданных часов. В эти часы человек принадлежал уже не походу, а самому себе, своим близким, которых, если повезет, можно увидеть во сне. И настроение за ужином поднималось на несколько градусов.

Сегодня ели молча. За сутки поезд прошел шесть километров, но люди так вымотались, что говорить никому не хотелось.

Большую часть ночи меняли шестерню первой передачи у Сомова... Обычно шестерни эти летели на пути к Востоку, когда каждый тягач тащил за собой груз тонн в пятьдесят. По ледяному куполу груженым тягачам положено идти на первой передаче, а это значит, что ее шестерня находится в работе значительно больше времени, чем предусмотрено расчетом, и, следовательно, быстрее изнашивается. Гаврилов и Никитин несколько лет назад представили докладную записку, обосновывая необходимость особой обработки этой шестерни для антарк-тических тягачей, но бумага та, видимо, попала в долгий ящик.

А менять шестерню в условиях похода было делом до крайности кропотливым и мучи-тельным. Следовало снять облицовку и радиатор, отсоединить коробку передачи от планетар-ного механизма поворота и от двигателя, вытащить ее, весом в полтонны, на божий свет, снять

крышку, сбить с вала шестерню и заменить ее новой. И проделать все операции в обратном порядке.

Восемь часов меняли, будь она проклята! И то спасибо Тошке, – не будь Тошки, на ремонт ушло бы суток двое. Походники – люди крупные и сильные, но это несомненное достоинство превращалось в свою противоположность, когда требовал ремонта главный фрикцион. А маленький и юркий Тошка раздевался до кожаной куртки, ужом заползал в двигатель, словно в спальный мешок, сворачивался там калачиком и орудовал ключом, а пальцы шплинтовал с ловкостью фокусника. «Мал золотник, да дорог!» – не дожидаясь похвалы, восторженно отзывался о себе Тошка, когда его вытаскивали за ноги, силой распрямляли и уводили греться.

А детали все были тяжелые, стальные, и не каждую сподручно поднять артелью. Коробку передач – ту Валера вытаскивал краном своей «неотложки», шестерни и облицовочные щиты поднимали руками, а двадцать – тридцать килограммов на куполе при морозе на все сто тянут. Без рук, без ног остались, полумертвые притащились на камбуз, даже Ленька Савостиков в тамбур забрался с третьей попытки. Никто не смеялся над Ленькой – поработал он побольше крана.

Спасли тягач, а за ужином молчали, в непривычной тишине сидели, сосредоточенно глядя каждый в свою тарелку, и пронизывало эту тишину какое-то напряжение. Ухом старого солдата уловил его Гаврилов. Наэлектризованная тишина, плохая, подумал он, будто перед арт-налетом. Заметил, что вилка в руке Сомова подрагивает, задерживается у самого рта, словно Сомов хочет что-то сказать и никак не найдет нужного слова. На пределе Вася, подметил Гаврилов, исхудал, каэшка висит, как на пугале, борода пошла сединой, это в его-то тридцать пять лет. Понять бы, где он, верхний предел усталости.

– Чего буравишь? – Сомов зло посмотрел на Гаврилова.

Так и есть, угадал – не выдержал Василий. Бывало, цапался с ребятами, однако на него еще не кидался. Зря, Вася... Как говорит Ленька, в разных весовых категориях мы с тобой работаем. Капитан Томпсон рассказывал, что, когда молодым матросом умирал от морской болезни, боцман расквасил ему физиономию – и вылечил. Может, так и было, но у нас свои законы, мы и без мордобоя обойдемся.

– Давай, давай, – кивнул Гаврилов, продолжая с аппетитом есть макароны по-флотски. – Выговаривайся, раз приперло.

– И скажу! – Сомов бросил вилку на стол.

– Слово для прений имеет знатный механик-водитель товарищ Сомов! – выскочил Тошка. – Часу хватит, товарищ механик?

Никто не улыбнулся.

– Чай пить будете? – заикнулся было Петя, но ему не ответили – все неотрывно смотрели на Сомова.

– Давай жми, – поощрил Гаврилов, тоже кладя вилку на стол. – Про то, как я поход затеял на твою гибель. Точно?

– Орден на нашей крови захотел получить? – сдавленно крикнул Сомов.

Мертвое молчание повисло над камбузом.

– Все так думают? – спокойно спросил Гаврилов.

– Что ты, батя, – подал из угла голос Давид. – Разве можно, батя...

– Орденов у меня шесть штук, не нужно мне седьмого, Вася.

– Это не ответ! – вставил Маслов.

Так, отметил Гаврилов, Сомов и Маслов – уже двое.

– Я кого неволил? – проговорил он пока все еще спокойно. – Силком за собой тащил? Отговаривал, кто хотел лететь?

– Ну, глупости сделали. Не полетели, – угрюмо сказал Маслов. – Пошли с тобой. Нам друг с другом юлить ни к чему, не один пуд соли вместе съели. Ответь людям, батя.

– Зачем на смерть повел? – уже не крикнул, а скорее простонал Сомов. – Ну, сам на ладан дышишь – твое дело, потешил свою командирскую спесь. А за что меня погубил и этих сопляков? За что, – яростно ткнул пальцем в покрытые заиндевелым стеклом фотографии детей, – их сиротами сделал?

– Не хотел говорить, а скажу, – решился Маслов, – теперь все равно. Знаете, что Макаров на Большую землю радировал? «Поезд под угрозой гибели» – радировал!

– Из-за тебя, краснойбай, остались! – набросился на Валеру Сомов. – «Не огорчайте батю, ребята, пошли вместе...» Распелась канарейка! Вот и пошли... Выхаркивай теперича легкие, чтоб батя не огорчился!

Валера прикрыл рукой глаза.

– Подонки ты, Васька, – сплюнув, сказал Игнат. – Думал, просто жмот, а ты еще и подонки!

– За подонка – знаешь? – Сомов рванулся к Игнату и затих, прижатый к месту тяжелой рукой Леньки.

– Драться не дам, я с Игнатом согласный, – хмуро сказал тот.

– Куда мне драться... – Лицо Сомова скривилось, голос дрогнул, перешел в шепот: – Подохнуть бы спокойно...

– Все высказались? – тихо спросил Гаврилов.

И, подождав мгновение, взревел:

– Эй, ты, мокрица, протри глаза, слез на дорогу не хватит! Разнюнился... баба! Слюни распустил... На тот свет собрался? Туда тебе и дорога, живые по такому сморчку плакать не будут! – И свирепо повернулся к Валере: – Зачем их уговаривал, кто разрешил?! Пусть бы улетели к чертовой матери, чем гирями на ногах висеть! Молчать, когда начальник поезда говорит! (Все свирепея.) Да, виноват – баб в поход взял! Зачем свой троллейбус бросил, если кишка тонка? (Сомову.) А ты чего писал «с благодарностью принимаю приглашение», когда знал, что я не в Алушту собрался? (Это Маслову.) Тьфу! Я вам дам помирать, на том свете тошно будет!

Перевел дух, бешеным взглядом обвел притихших людей:

– Чего носом стол долбишь? (По адресу Леньки.) За девками бегать легче, чем по Антарктиде ходить? А вы? (На братьев.) Полудохлый тюлень веселее смотрит! Зарубите себе на носу каждый: помереть никому не позволю. Пригоним хотя бы полпоезда в Мирный – ложись и помирай, кто желает. Тебя, Сомов, отстраняю от машины, сдай Жмуркину Антону. С тобой, Маслов, разговор особый. Всем пить чай и располагаться на отдых.

– Не вставайте, ребята, сам разолью, – заторопился Петя. – Пейте, ребята, пока горячий.

– Раз пошла такая пьянка... – сбивая напряжение, пошутил Алексей Антонов, – разреши, батя, каждому по сигарете.

Закурили, молча и с наслаждением подымили.

– Ты главное ответь, – поднял голову Сомов. – Когда с Востока уходили, знал или не знал про соларку?

– Не знал, Вася, честно говорю, – ответил Гаврилов. – А если б знал... – докурил до пальцев сигарету, загасил в пепельнице, жестяной крышке из-под киноленты – ...все равно пошел бы!

– Один? – недоверчиво спросил Маслов.

– Один в поле не воин. – Гаврилов взял протянутый Валеркой окурок, благодарно кивнул, жадно затянулся. – В походе одному делать нечего. С Игнатом пошел бы, с Алексеем, с Давидом, с Валерой. «Коммунисты, вперед!» – как когда-то на фронте... И Ленька небось посоветился бы дядюшку, почти родного, бросать. А может, и еще кто.

– Как главный фрикцион или коробку менять, все бегают, орут: «Где Тошка? Куда заделся Тошка?» – затараторил Тошка. – А как в кино идти или пряники жевать, про Тошку никто ни ползвук!

– И Тошка, – серьезно добавил Гаврилов. – Нельзя было, сынки, не идти в этот поход... Был у меня кореш – комбат Димка Свиридов, два года рядом провоевали, сколько раз друга из беды вытаскивали – и счет потерял. Да такое никто на фронте и не считал, там, как и у нас в полярке, выручил друга – и знаешь: завтра он тебя выручит. Так я вот к чему. Зимой сорок пятого Вислу форсировали, нужно было до зарезу с тыла прорваться к деревне. – Гаврилов рукой сдвинул посуду и при помощи вилок показал, как располагались стороны. – А с тыла, вот здесь, по разведанным, то ли было, то ли могло быть минное поле. Времени в обрез, не возьмем деревню, посереде которой шло шоссе, – сорвется операция. Сподручней всех заходить в тыл было свиридовскому батальону, а Димка, мы ушам не поверили, стал тянуть резину: так, мол, и так, машины не в порядке, личный состав неопытный, боеприпасов недокомплект... Что на него нашло, никто понять не мог. Другой батальон с тыла бросили. На минах три танка потеряли, остальные прорвались, взяли деревню... А со Свиридовым я до конца войны не здоровался, ни разу руки не подал. Не знаю, где он сейчас, чем командует...

– Поня-ятно, – протянул Игнат.

– Не хотел, сынки, чтоб вся Антарктида плевалась в нашу сторону, если б на следующий год Восток закрыли, – закончил Гаврилов. – Я-то что, я уже на излете, а вам жить да жить да людям в глаза смотреть...

На камбузе с каждой минутой холодало, под каэшки лез мороз.

– Полаялись и забыли, батя, – с извинением проговорил Маслов. – Не из капрона нервы, сам понимаешь. И помирать опять же никому не охота.

– Не помрем, – сказал Давид. – С Комсомольской дорога под горку пойдет, полегче будет.

– Факт, – поддержал Алексей. – Морозы ослабнут, повысится и давление воздуха и количество кислорода в нем.

– Выйдешь на улицу, – размечтался Тошка, – а там сущая чепуха: минус пятьдесят. Сымай кальсоны и загорай!

Растаяли, заулыбались.

– Как вернемся, – продолжал мечтать Тошка, – соберу пингвинов штук тыщу, расскажу им лекцию про поход. А если кто каркнет, что брешу, – перья из... повыдергаю!

На этот раз не выдержали, рассмеялись.

– Все, Давид, – вытирая слезы, пробормотал Валера, – побаловал тебя, и баста. Тошка, собирай чемоданы – и домой!

Тошка вопросительно взглянул на Гаврилова.

– Пойдешь вместо Сомова, – еще раз повторил Гаврилов.

Сомов хрустнул пальцами.

– Ну, батя, вылез из оглоблей, было такое... Только машину сдавать не принуждай, рано списывать меня: в пассажиры пригожусь...

– Сдашь, – проговорил Гаврилов, – на одни сутки. Отдохнуть тебе надо, Вася.

– На сутки – другое дело, – обмяк Сомов. – А то «сдай машину», бог знает, чего подумаешь.

– Кончен бал. – Гаврилов поднялся. – По спальням!

И все разошлись «по спальням». Дежурные разожгли печки-капельницы, салон «Харьковчанки» и жилой балок быстро прогрелись, а в тепле раздеваться одно удовольствие. Залезли в мешки с пуховыми вкладышами, глаза сами собой закрылись.

Светало. Понемногу выплывал из тьмы желтый диск, окрашивая в нежно-розовые тона снег и часть небосклона, а позади, где-то над Южным полюсом, густел темно-синий занавес. И оттого солнце казалось не настоящим, а бутафорским, словно осветитель в театре баловался

своим искусством. Лучи были косые, на все пространство их не хватало, и на теневых участках снег казался то изумрудным, то красноватым. Но так продолжалось недолго, часа полтора. А потом, по мере того как солнце пряталось, нежно-розовые тона превращались в багровые, с каждой минутой темнея. И вскоре на почерневшее небо выплыли луна и звезды.

Однако люди ничего этого уже не видели. Точнее, видели, и не раз, но не сейчас, а в прошлые походы, когда шли днем, а спали ночью.

Поезд спал. Утихли двигатели, умолкла рация, и лишь слегка посвистывал ветерок, чуть взметая снежную пыль.

Так спит пружина, пока ее не натянут. Но пружине легче, она стальная, а люди сделаны из плоти и крови.

Василий Сомов

Сомов заснул в тишине и проснулся от тишины. Выглянул из мешка – никого. Тело протестовало, требовало покоя, но оно всегда протестует и требует, к этому Сомов давно привык. Жаль покидать мешок, так бы, кажется, всю жизнь в нем и провалялся. Слава богу, тепло из балка выдуть еще не успело. Значит, только-только остановились, прикинул Сомов. Проканителишься минут двадцать – будешь лязгать зубами, надевая штаны при минусовой температуре. Вылез. На нижнее шелковое белье надел шерстяное, потом свитер из верблюжьей шерсти, кожаную куртку, каэшку – штаны и телогрейку опять же на верблюжьей шерсти, натянул унты, подшлемник, шапку и, запакованный по всем правилам, вышел из балка на мороз.

Первая мысль: утро, сутки проспал, и впереди снова сон, вместе со всеми. Это хорошо.

Глянул – Комсомольская! Полузасыпанный домик, раскулаченный тягач, что еще в позапрошлом походе бросили, разбитые ящики, разная рухлядь... А цистерна? Круто обернулся, увидел метрах в двухстах цистерну и возле нее людей. Побежал бы, да нельзя здесь бегать, шагом дойти – и за то ногам спасибо. Дошел, не стал задавать вопросов, потому что увидел, как Игнат вытаскивает из горловины щуп, залепленный густой массой.

Завернул Игнат горловину, спустился вниз.

– Привет, Плевако!

Постояли, понурясь. Ждали, рвались на Комсомольскую... Была надежда, и нет ее. Гаврилов махнул рукой, пошел к домику, за ним потянулись остальные. Ни слова никто не сказал. Но – удивительное дело! – думал Сомов о цистерне на Комсомольской много раз и замирал от этих дум, а удар перенес без горечи, даже равнодушно. Потому что кожей чувствовал: быть и в той цистерне киселю, и потому, что весь выплеснулся во вчерашнем разговоре, и еще потому, что хорошо выспался и скоро снова ляжет спать на восемь часов. А там видно будет.

Ленька уже откапывал дверь. Молодой буйвол, здоровый, ничем в жизни не связанный, для себя живет, позавидовал Сомов. А слабак! Таких Сомов видел не раз и не испытывал к ним уважения. Все хорошо – козлами скачут, а как прижмет их – слова не выдавишь. Первый и последний раз парень в походе, точно. Мазуры, Никитин, даже этот шкет Тошка – другое дело, тертые калачи, не говоря уже о бате. Стреляный волчара, битый-перебитый.

Ленька распахнул дверь. На пути к Востоку торопились, в домик не заходили, да и ни к чему было заходить. А теперь все рвутся, может, разжиться чем удастся. Картина знакомая: дизельная электростанция, законсервированная, камбуз, в кают-компании стол, стулья, две полки с книгами, стены покрыты толстым слоем игольчатого инея. Никитин – к полке с книгами: Толстой, Флобер! А Сомов – в жилую комнату, к тумбочкам. Открыл одну, вторую... Есть! Стащил рукавицу, трудно гнущимися пальцами пересчитал: двенадцать штук «Беломора». Так-то, брат Никитин, Флобера курить не будешь...

Узнав про такую удачу, перерыли всю станцию, разгребли по углам сугробы – откопали десяток мерзлых бычков... Зато из камбуза с радостным подвыванием вышел Петя, прижимая к груди несколько килограммовых пачек смерзшейся в камень соли. Тогда только походники и узнали, что соли у них оставалось от силы на неделю.

Вот и все, больше до Мирного жилья не увидишь...

За ужином о цистерне никто не вспоминал – батыю щадили и нервы свои берегли. А думали о ней, по глазам было видно. А глаза-то у всех ввалились, носы острые, губы серые – краше в гроб кладут. Хотел Сомов спросить, как перегон дался, но смолчал: и без слов видно, что по уши нахлебались, пока он сон за сном смотрел.

Пожинали, растопили капельницу, улеглись. Сомов привычно расслабился, ожидая, что сию же секунду мозг отключится, но не тут-то было, сна ни в одном глазу. Оглушительно храпел Тошка, посапывал Ленька беззвучно. Как мертвые, лежали Валера и Петя, а Сомов

все бодрствовал. Капельница прогрела бак градусов до тридцати, стало жарко. Машинально выпростал из мешка руку, чтобы достать «Шипку», и шепотом выругался. Хотя бы одну «беломорину» заначил, дурак... Курить захотелось до кругов в голове, сладкая слюна заполнила рот, что хочешь отдал бы за три-четыре затяжки. Мысли сосредоточились на камбузной полке, где Петя хранил скудный запас курева, и в мозгу начали возникать варианты, при которых он, Сомов, имел бы законное право пойти на камбуз и всласть накуриться. Но варианты эти были сплошь надуманные, по закону ничего не выходило, а раз так, то лучше про курево не вспоминать. Через четырнадцать часов обед, тогда и подымим.

Сразу засыпаешь – ни о чем не думаешь, во сне все беды проходят, а когда валяешься без смысла и цели, начинают болеть помороженные щеки, нос и кисти рук, стреляет в колене – ревматизм, что ли, начинается, бунтует желудок, вызывая изжогу. Сомов встал, зачерпнул кружкой ледяной натаянной воды из бидона. Прогрел воду у еще не остывшей капельницы, проглотил две таблетки бесалола, запил. Изжога прошла, заснуть бы теперь в самый раз...

А в голову назойливо лез вчерашний разговор. Ненужный был разговор, зряшный. Все равно Гаврилов оказался прав.

Сомов выругал себя: сорвался... Лучше всего молчать. В троллейбусном парке его так и прозвали – молчун. В праздники наряды выписывали – молчал, благодарность объявляли – молчал, ругали – молчал. По своему опыту Сомов знал, что молчаливых не то что любят, а стараются не очень задевать: работает человек – и пусть себе работает, всем кругом польза. А если с начальством спорить, то сегодня выиграешь десятку, а завтра проиграешь сотню.

Обидно, сорвался. В первый раз, а какая разница? Кому самый захудалый тягач подсовывали? Сомову. «Ты, Вася, у нас опытный, ты у нас золотой и серебряный», – уговаривали. Кто три дня на Востоке грузы сдавал, соляр перекачивал, пока остальные водители дрыхли без задних ног? Сомов. Всегда так: вкалывать нужно – Сомова зовут, а премии, грамоты получать – Иванова, Петрова, Сидорова. Хотя, конечно, бывало и другое. Сомов не без удовлетворения припомнил случай с Гусятниковым, в прошлую экспедицию. Нахрапистый был мужик, громче всех орал на собраниях, Валерку оттирал – к батю лез в замки. «Сомов такой и сякой, – орал, – безынициативный!» А когда на припае у Гусятникова трактор заглох и лед под ним хрустнул, чуть «медвежьей болезнью» не заболел. Трещина узкая, с полметра, нужно неисправность устранить и вперед рвануть, пока не разошлась, а выступальщик этот драпанул с машины. Кто трактор и сани с продовольствием спас? Сомов. Тогда батя за его здоровье выпил и на руках носить пообещал. Нам на руках не надо, ноги пока еще ходят, ты лучше хорошее помни, а плохое забудь. Так нет, запомнит, вернет что-нибудь такое в характеристику, прощай, Антарктида. Садись, Вася, за баранку троллейбуса номер двенадцать и гоняй до одури по маршруту: гостиница «Националь» – больница МПС.

В который раз подсчитал в уме, что имеет здесь, в Антарктиде. Если все собрать, то раза в два с половиной больше, чем зарабатывал в парке. Ладно, была бы шея, а хомут найдется... Дойти бы...

Два раза отнимовал – шесть лет забот не знал, нешуточное дело восемь едоков прокормить, обути и одеть одному. Конечно, Жалейке неплохо бы сотнягу прирабатывать, но где ей, с хозяйством еле справляется. Вспомнил разговоры друзей: «Куда махнешь в отпуск?» – «В Ялту, а ты?» – «Думаю, в Палангу, на машине!» Горько усмехнулся. Он-то вернется, получит отпускные – и за баранку, да еще сверхурочные ездки будет выпрашивать. Кружка-другая пива – вот и все удовольствие. Для них, подумал Сомов о товарищах, Антарктида – это почет, портреты в газетах, борьба с природой... Вам бы столько нужно было, сколько мне, поняли бы, что такое для меня Антарктида...

Не спится, курить хочется, хоть вой. Чертов Ленька, сунулся тогда в пожар, не мог курево из балка выкинуть. Знал бы такое, первый бы полез... Хотя вряд ли, Ленька – сам себе кор-

милец, ему море по колено, красуйся, проявляй геройство. А моим хлеб нужен, не портрет с черной окаемкой...

Еще раз позавидовал Ленке, и заныло под ложечкой: вспомнил Сомов молодого Ваську, неженатого, удачливого. Первая удача – в танковых войсках служил, обучился на механика-водителя. Хотя просился на флот, чтоб тельняшку носить и брюки-клеш, пыль девкам в глаза пускать. Не видать бы тогда Антарктиды как своих ушей, для Гаврилова только танкист – человек. Но с батей встреча случилась через шесть лет, а до того отслужил, закончил курсы бульдозеристов и завербовался в Братск. Деньги там были несчетанные, как от них избавиться, не знал.

Воспоминание об этих деньгах до сих пор мучило Сомова, как только может мучить тяжелая и непоправимая ошибка. Послушался бы умных людей, оставил бы на книжке – горя бы не знал. Так нет, полгода по Кавказу мотался, пока до копейки не спустил. Правда, на всю жизнь нагулялся, цыплятами табака завтракал, шашлыками обедал, вино дул, как воду. И Жанна... Вообще-то ее звали Аней – в паспорте случайно подсмотрел. Ноги длинные, грудь высокая, синими глазищами взглянет – до позвонков пробирает. До последней десятки деньги выжала и хвостом вильнула. Продал часы, купил билет и махнул в столицу – устраиваться. Вышел из поезда, сел в первый же попавшийся троллейбус, прочитал объявление и напрямик в парк. И заработок неплохой обещали и работа почище, чем на бульдозере. Поселился в общежитии. Через год женился. Может, и рано было жениться, но уж очень хотелось забыть, вытравить из памяти ту синеглазую ведьму.

А с Жалейкой забыл, вытравил...

Вспомнил Сомов их первую встречу. Ехал в автобусе к приятелю в гости и стал свидетелем смешной сцены: контролер, здоровенный мужик, выжимал штраф из зайца-студента. Тот хлопал глазами, шарил в портфеле и лопотал насчет стипендии, что завтра получит, а контролер весь светился от радости, что поймал: «Так будем платить штраф, гражданин?» Студент не знает, куда деваться от позора, уже не просит, а стоном исходит. Тут-то Сомов и увидел Жалейку. Простенькая такая, собой нескладная – пройдешь мимо и не заметишь. Только глаза большие и скорбные, как на картине. Подошла, спросила, можно ли за студента штраф заплатить. Контролер: «Плати, твой будет заяц!» Покраснела, как малина, заплатила, а тот ухмыльнулся, пошутил плоско и пошел новых зайцев ловить. Студент приготовился на блокнотике адрес записать, чтоб завтра деньги принести, а она – что вы, говорит, не надо. Шмыг к выходу – и выскочила на остановке.

Сомов за ней. Сто раз удивлялся, какая сила его толкнула, зачем вышел, ведь ехать-то было еще далеко. Догнал, напросился проводить, слово за слово – в общем, познакомились. В кафе «Мороженое» пригласил, о том о сем рассказал и поинтересовался, почему это она чужой штраф заплатила.

– Жалко его стало, – ответила. – Тихий он такой, беспомощный.

– Много их, зайцев, – возразил. – Я троллейбус вожу, знаю ихнего брата. Всех не пережалеешь, которые бесплатно норовят.

– Не все от жадности, – тихо так сказала, будто извиняясь. – Нельзя людей ногами топтать.

– Эх ты, Жалейка! – посмеялся Сомов.

Так и прозвал ее – Жалейка.

Чудная девка оказалась, не видел он таких. Штукатур, в общежитии жила, в комнате шесть верхивосток, и каждая: «Варька, погладь! Варька, отнеси каблук набить!» – кому не лень, все на ней воду возили. Половину заработка отцу с матерью в деревню отсылала да еще сестричку, что в техникуме училась, кормила, самой только на хлеб да на суп с вермишелью и оставалось. А девка была хоть и не видная собой, а плотная, девки – они воздухом сыты бывают.

Присмотрелся к ней Сомов и решил, что получится из Жалейки верная и надежная жена. Сыграли свадьбу, парк выделил молодоженам комнату, начали жить, а добра не наживали. Безответная была Жалейка, робкая, а характер гранитный. «Ты уж меня прости, Вася, но как жила, так и жить буду – по совести». И старикам продолжала посылать, и сестричку кормила, и, Васю своего не спрашивая, его родителям в деревню двадцатку в месяц. Сомов хмурился, выражал недовольство, голос повышал, чтоб понимала, кто в семье хозяин, но верха не взял и покорился. Корешки, с которыми на троих перестал разливать, посмеивались, называли подкаблучником, но Сомов не обижался, зная, что вовсе он не подкаблучник, а просто в глазах у Жалейки есть такая правда, против которой не попрешь. Ни напиться, ни выругаться, ни человека обидеть не позволяли, с таким укором смотрели, что хоть на колени становись – клянись, оправдываясь.

Вот и получилось, что не он жену воспитал, а она его. Любила своего Васю, ласкала, без чистой рубахи на улицу не выпускала и день за днем, год за годом переделывала по-своему. Научила стариков почтительно любить, семью ценить превыше всего, человека в себе беречь – не только тело, но совесть в чистоте держать.

Заболела соседка, Жалейка ночь у ее постели сидит, погорельцы по домам ходят – платье свое отдаст, о стиральной машине сколько мечтала, дождалась премии – и старикам на сено для Зорьки послала. Эх, Жалейка, Жалейка...

За пять лет двух мальчиков-погодков ему родила, девочку, и все бегают у нее чисто одетые, умытые, любо-дорого смотреть, когда за стол садятся, галчата голодные. Гордое слово – семья, сколько в нем скрыто для человека радости. Смысл жизни – семья!

Екнуло сердце: вспомнил про бычка, который, может, еще лежит в кармане кожаной куртки. Не докурив, Сомов никогда не выбрасывал бычка, а бережно гасил и совал в карман. А вдруг и сейчас там лежит, забытый? В балке уже похолодало, но ради такого водой ледяной дал бы себя облить. Вылез, нащупал куртку, юркнул обратно в мешок, рванул «молнию» на кармане... Вот он, родной, желанный! Давно уже такой радости Сомов не испытывал, как от этого бычка. Прислушался – спят. Не спали бы – дал бы каждому по затяжке, а раз спите – во сне покурите. Крутанул зажигалку, жадно затянулся, раз, второй, третий – даже в голове зазвенело от облегчения.

И постыдился: нехорошо, не по совести. Проснулся бы кто, увидел, что он курит, бог знает, что бы подумал. И так не любят его, жмотом в глаза и за глаза обзывают, скопидомом. А ты зайди ко мне, посмотри, сколько в доме накоплено?!

Сомов вздохнул. Дорого она обходится, Жалейкина правда, чистая совесть.

Семь лет назад, в гололед, такая приключилась история. Возвращался Сомов ночью в парк, и в его троллейбус врезалась «Волга». Признали, что водитель троллейбуса ничего не нарушил, а с двоих, которых из-под обломков «Волги» вытащили, вину смерть списала. Вот и вышло, что оказался как бы виноватым в этой беде один человек – Василий Сомов. Не перед судом, к которому он и не привлекался, – перед своей обнаженной совестью. Понял это, когда трех сироток решили определить в детский дом.

Не позволила Жалейка!

Взяли детей к себе. Яблоки зимой покупали, на море летом возили – чтоб жили, как раньше. Полюбили, как родных, заменили отца и мать, не во всем, конечно, потому что родителей вообще нельзя заменить. Но здоровье детям сохранили и детство прожить дали, старшего до института довели. Поневоле жмотом станешь, деньги, брат, у нас считанные...

Еще пять лет, подумал Сомов, и полегче будет. Заработок Костя в семью принесет, младших поднять поможет. Как Давид Мазур – не забывает, помнит, помогает.

По анкете – трое детей, по столу обеденному – шестеро... И никто из походников не знает, и пусть не знает, жалеть мы сами умеем, нас жалеть ни к чему. Живым бы вернуться!.. Зря вчера Валеру попрекал, не он от самолета отговорил – Жалейка отговорила!

Так он лежал и думал. Выспался, покурил, до звонка еще часов шесть – давно такой удачи не выпадало. Всех вспомнил: жену, своих стариков и ее стариков, Витю, Колю, Галку, Зойку, Костика и Леночку, никого не забыл. Стал думать, что кому купит, если живым останется. Жалейке мохеровый шарф на плечи, мальчишкам джинсы и нейлоновые куртки; девчонкам тоже куртки поярче и нейлоновые купальники – это на валюту, в Лас-Пальмаса. А дома – всем новую обувь, а девчонкам – высокие сапоги, Костику для института шерстяной костюм, старикам – отрезы... Сам – за баранку, а семью – в Евпаторию на месяц, пусть жизни радуются.

Вспомнил, что как-то Игнат его спросил:

– Вася, а ты когда-нибудь в жизни смеялся?

– Что я, клоун, что ли? – нехотя ответил, хотя вообще мог бы не отвечать на такой глупый вопрос.

Вспомнил же Сомов про этот вопрос Игната потому, что лежал и улыбался – так хорошо ему было думать про то, как обрадуются дома его подаркам и его возвращению.

И с этой улыбкой стал засыпать. Эх, Жалейка, Жалейка, совесть ты моя...

Три часа на размышление

Поезд скрылся за снежной пеленой, и Гаврилов остался один.

Сейчас половина первого. Через полтора часа остановятся на обед и увидят, что он отстал. Еще полтора часа – на возвращение. А если догадаются отцепить цистерны от «Харьковчанки» и пойти назад на третьей передаче, то минут сорок. Итого три часа либо два часа десять минут. Впрочем, это, наверное, все равно: больше полутора часов ему не выдержать.

Ночь и снежное кружево отгородили Гаврилова от всего остального мира.

Метель не раз пыталась его погубить. Однажды на мысе Шмидта, налетев внезапно, как разбойничья шайка, она настигла его на пути от аэропорта к поселку. Тридцать метров в секунду, видимость ноль, одна надежда – диспетчер Татьяна Михайловна вспомнит, что не дождался автобуса Гаврилов и пошел пешком. Вспомнила, послала вдогонку вездеход. Через несколько лет, уже в Мирном, когда скорость ветра достигла пятидесяти метров, отправился с поисковой партией спасать пропавшего аэролога и чуть было не свалился с ледяного барьера на припай – в последнее мгновение успел ухватиться за леер. А в другой раз на дрейфующей льдине с полчаса вертелся вокруг домика, пока, сбитый с ног ветром, не ударился о дверь – спасся.

Выжить в настоящую пургу и погибнуть из-за никчемного ветришки пять-семь метров в секунду... Никчемный, а сделал свое дело: взметнул снег, засеял воздух мельчайшими пылинками, уничтожил видимость.

Был бы у него тягач с балком – «ноу проблем», как говорил американский геофизик, который зимовал на Востоке. Забрался бы в балок, разжег капельницу и отсиделся в тепле. Значит, допустил ошибку: последний тягач обязательно должен быть с балком.

И еще ошибку допустил или небрежность – один черт, как назвать: не наладил переговорные рации на первой и последней машинах, понадеялся на ракеты. А все ракеты ушли на фейерверк, салют в честь первого пожара в истории Центральной Антарктиды.

«Многовато ошибок на один поход», – расстроился Гаврилов. Кому-то нужно за них расплачиваться, и справедливо, что жребий этот выпал ему.

Стал решать, как поступить: отсидеться ли в кабине, пока не уйдет тепло, или сразу разжигать костер. Конечно, нужно отсидеться. Двигатель остынет минут через двадцать, и в эти минуты в кабине будет плюсовая температура. Еще с полчаса морозу придется штурмовать тягач, чтобы проглотить остаток тепла. Значит, покинуть кабину следует не раньше чем минут через пятьдесят. И тут же внес поправку: через сорок, потому что зачоченеешь – рукой не двинешь, а разжечь костер – дело нешуточное, много сил потребуется.

Прикинул план: сначала наломать на куски или распилить остаток горбыля, снести его в колею, намочить тряпку в канистре с бензином и поджечь. Это первый вариант. Второй вариант такой: проделать то же самое, но разжечь костер прямо в санях, чтобы пламя охватило доски, которых имелось кубометра полтора. Вариант более надежный, но в этом случае поезд останется почти без дров, разогревать масло и соляр будет нечем. Так что второй вариант отпадает. Вот если бы авария случилась до, а не после Комсомольской, – другое дело, тогда можно было бы разобрать на дрова домик. А возвращаться с этой целью на Комсомольскую – потерять три-четыре дня. Не имеет он, Гаврилов, права на такую роскошь – возвращать поезд назад, когда каждый километр дается с кровью. Себя, может, и спасешь, а поезд погубишь – такого не то что Сомов, а Валера и Мазуры не выдержат.

И решил, что пожертвует, самое большее, горбылем и двумя-тремя досками. Тогда дров ребятам, пожалуй, хватит, с учетом того, что километров через двести – триста морозы ослабнут, а на Востоке-1 и Пионерской можно наскрести для костров всякого хлама – разбитых ящиков, вех и прочего. Итак, горбыль, две-три доски и ни одной щепкой больше.

И, пока в кабине было еще тепло, стал писать докладную:

*«Начальнику САЭ тов. Макарову Алексею Григорьевичу
23 марта, 0 ч. 35 мин.*

Докладываю, что в двадцати километрах от Комсомольской заглох ведомый мною тягач № 36 с хозсанями. Предполагаю, что расплавились подшипники коленчатого вала. В связи с отсутствием видимости данное происшествие для экипажа поезда осталось неизвестным. Нахожусь в кабине, которая быстро охлаждается и на исходе примерно часа сравняется температурой с наружным воздухом минус семьдесят один градус (такая температура отмечена сегодня на начало движения в 21 час по местному времени).

Принял возможные меры для предотвращения утечки тепла: забил щели в кабине ветошью и укутался чехлом. После окончательного охлаждения кабины буду разогреваться работой, а также зажгу костер из горбыля и двух-трех досок.

Учитывая, однако, что принятые меры могут оказаться лично для меня недостаточными, прошу не винить за последствия экипаж поезда, так как идущий впереди Савостиков никак не мог видеть, что тягач № 36 заглох, так как на 23.30 видимость стала ноль из-за пороши.

Алексей Григорьевич! Синицын не подготовил топливо, отсюда все наши беды...»

Зачеркнул как следует последнюю фразу. Сами разберутся, кто виноват, а то получается, что он, Гаврилов, жалобу сочиняет, а не деловую докладную записку.

И продолжил:

*«Григорыч! Начальником поезда назначь Никитина, заместителем Игната Мазура. Если что, друг, не поминай лихом.
Твой Иван».*

В кабине стало заметно холоднее. Паста из шариковой ручки не выдавливалась, и Гаврилов достал карандаш.

«И.О. начальника поезда тов. Никитину В.А.

Валера! Поставь Давида замыкающим. Мой тягач брось, сними с него, что надо, а сани пусть подцепит Савостиков. Учти, на сотом километре у зоны трецин вехи занесло, в пургу ни шагу, стой, пока Маслов не проложит курс. Характеристики на всех пиши с Игнатом и обсуди на коллективе. Если никто не вылезет из оглоблей, дай всем положительные. Если на Пионерской сумеете забраться в дом, то на камбузе есть соль и десяток мороженных гусей, точно помню. Ну, бывай.

Гаврилов И.Т.

Сынки! Держитесь друг за дружку – и черту рога обломаете.

Батя».

Все, отписался. Самое трудное осталось...

По тому, как замерзли руки, державшие карандаш и записную книжку, понял, что температура в кабине опустилась много ниже нуля. Наверно, каждую минуту холодает на градус, а то и на два. Последние, самые трудные строчки – и пора выходить, жечь дерево. Растер кисть, погрел ее в рукавице и стал медленно выводить:

«Катюша, сыночки! Уж такая случилась неудача...»

Глухо заныло сердце, горький спазм перехватил дыхание.

Смерти Гаврилов не боялся, слишком часто за пятьдесят лет она подкарауливала его, и он привык к мысли о том, что рано или поздно звезда перестанет светить. Как и все старые полярники, он никогда не говорил об этом, но знал, что не опозорит свой последний час излишней суетливостью, которая, бывает, перечеркивает все хорошее, что было в человеке при жизни, и надолго оставляет у живых неприятный осадок. «Веселиться в жизни всякий умеет, – говорил комбриг, – а ты сумей весело отдать концы! Умирать, братцы, нужно с достоинством, с улыбкой».

Ну, с улыбкой – это слишком сильно сказано, а с достоинством он умереть сумеет. Не в этом дело. Умереть – это больше не знать и больше не увидеть: не знать, дойдет ли поезд, не увидеть Катю и мальчишек.

И письмо его – последнее!

Осознав этот факт, Гаврилов решил, что писать письмо не станет. Он не любил возвышенных слов, какими говорят в театре, считал их неискренними и сентиментальными, а именно такие слова и просились на бумагу. К тому же пальцы уже не гнулись, буквы получались корявые, и Катя подумает, что писал он в судорогах. Ни к чему травмировать бедняжку, и без того слезами изойдет.

Вспомнил, как провожали его пять месяцев назад на причале Васильевского острова. Было ветрено и сыро, ребятишки озябли, и Катюша отправила их в помещение, а сама стояла внизу и неотрывно смотрела на него, печальная, гордая, все еще красивая. «Королева у тебя жена, Ваня», – с уважением сказал Макаров. И Гаврилов вздрогнул тогда от этих слов, потому что про себя всегда называл ее королевой, владычицей своей жизни, счастьем своим незаслуженным.

И оттого, что никогда, быть может, не увидит больше Катюшу и ею рожденных для него сыновей, и заныло у Гаврилова сердце, перехватило дыхание.

«Эх ты, слюняй, – обругал он себя, – нашел время размагничиваться!» Пососал валидол, но боль не унималась. Разжевал одну таблетку, другую, прислушался – вроде отпускает. Взглянул на часы: прошло сорок минут. И мороз в кабине градусов под пятьдесят, наверное. Нужно выходить, пока не окончательно сковало суставы и не потеряло чувствительности тело.

Вышел, захлопнул дверцы кабины. Ветришко резанул лицо холодным огнем, пробил подшлемник и шарф, словно бумагу. Но дует, однако, слабее, метра три в секунду, не больше. И видимость кое-какая появилась, снежную пыль прижимает вниз. Это хорошо, но недостаточно. Совсем бы уложило пыль на поверхность – Ленька, обернувшись, заметил бы, что за ним никого нет.

Стремясь не делать резких движений, полез на обрешеченные стальными трубами сани, стал собирать горбыль. Его оказалось немного, минут на десять горения. Горбыль длинный, но тонкий, пилить его, пожалуй, не обязательно, можно и разломать. А вот с досками вышла ошибка, нет здесь полутора кубометров, в лучшем случае кубометр с четвертью. Так что досок трогать никак нельзя. Впрочем, утешил себя Гаврилов, все равно распилить бы их он не смог. Влез на сани, горбыля наломал и сбросил – и то глаза на лоб полезли, через рот с трудом отдышался.

Подумал, что в прошлом походе запросто бы три часа продержался. Поработал бы хорошенько кувалдой, вбил бы полдюжины пальцев, вот и согрелся. Теперь все, спета песня, укатали сивку крутые горки. Что толку в руках, которыми и сейчас подкову сломаешь, если легким не хватает кислорода и сердце не гонит кровь. За три недели похода четыре обморока... А ведь Алексей еще в Мирном предупреждал: не то у тебя стало сердце, батя, лучше бы тебе в поход не идти. Обругал тогда Лешку, велел помалкивать в тряпочку. Не мог не пойти в этот поход. Снова вспомнил комбрига: «Танкист, который доживает до пенсии, не танкист!» Будто

свою судьбу видел генерал: погиб от несчастного случая на испытаниях нового танка два года назад, со всей страны съехались фронтовики почтить память.

Пока стоял, накапливал силы, чтобы вылезать из саней на снег, мороз добрался до костей, и Гаврилов подумал, что хорошо бы сейчас свалиться в обморок и на этом поставить точку. Обругал себя за эту мысль грубой бранью, встряхнулся и полез через решетку. Руки окоченели, а от них сейчас зависело все. Стал сжимать и разжимать пальцы, бить в ладоши, чуть разогрелся и начал укладывать в колее щепки для костра. Вновь выругался: вспомнил, что не смочил в бензине тряпку, а канистра в санях. Пришлось снова карабкаться на сани, сбрасывать канистру и выбираться обратно.

Теперь предстояло самое ответственное дело: следовало снять рукавицу, расстегнуть каэшку, достать из кармана куртки зажигалку и крутануть колесико. Начал бить правой рукой по дверце тягача, но осторожно, чтобы не повредить костяшки пальцев. Бил, пока в руке не защипало и пальцы не обрели чувствительности. Снял рукавицу, рванул «молнию» на каэшке, «молнию» на кармане куртки, выхватил зажигалку и поджег тряпку. И, не задерживая пока «молнию» на каэшке, склонился над вспыхнувшими щепками.

В лицо и в грудь дохнуло живительным теплом, так бы и окунулся в него весь, как в горячую ванну. Хорошо, что догадался сложить костер в колее, меньше тепла уносит зря. По мере того как огонь угасал, подбрасывал щепку за щепкой, и каждой щепки было жаль, потому что с ней уходило еще секунд пятнадцать жизни. «Как костер, наша жизнь угасает», – неожиданно припомнил слова из песни, которую пел под гитару комсомолец Костя Изотов, комроты из его батальона. И Костя тоже не дожил до пенсии, пророчески напел себе: сгорел в танке у самого Берлина, волчонок из гитлерюгенда угодил в бензобак из фаустпатрона. А было тогда Косте девятнадцать лет.

Задымилась промасленная каэшка, пришлось чуть отодвинуться. Осталось десятков щепок, почти что ничего. Не натопишь Антарктиду двумя охапками горбыля. Что еще может гореть? О досках не думать, за чужой счет Гаврилов жить не привык. Чехол от капота, старый комбинезон, что в кабине валяется, годятся, облил их бензином – и в огонь. От копоти и масляного чада драло горло, слезились глаза, но зато тепла тряпье дало много, минут на семь-восемь, даже сосульки на шарфе подтаяли.

Все, догорел костер, больше жечь нечего. Но угли еще тлели, и, чтобы это последнее тепло не пропало, Гаврилов лег на них в колею, уже не боясь того, что каэшка будет дымиться. И это тепло оказалось очень значительным: оно проникло глубоко в грудь, и согретая кровь побежала в ноги, с болью побежала, вознаграждая догадливого Гаврилова мучительным наслаждением.

Но угли быстро остыли, и Гаврилов поднялся. Снегом загасил на рукавицах и каэшке тлеющие места, взял с кузова кувалду и попробовал поработать. После третьего удара задохнулся, бросил кувалду и полез в кабину.

Тело быстро леденело, но руки еще слушались. Не снимая рукавицы, взял карандаш и крупно вывел на листке записной книжки: «2 часа 03 минуты». Выронил карандаш и не стал пытаться поднять, решил, что остальное люди поймут сами. Попытался было еще подвигать плечами, побарахтаться, а поняв зряшность этих усилий, лег на сиденье, сжался, как мог, и стал засыпать.

Сквозь сон услышал Гаврилов колокольный звон и усмехнулся или подумал, что усмехнулся, настолько нелепыми показались ему эти звуки. Минут пять назад он еще мог бы определить, что это не звон, а грохот. Но способность даже к простым умозаключениям уже покинула Гаврилова, и потому он никак больше не реагировал на замирающие звуки уходящего от него мира.

Синицын

Океан разомлел от зноя. Зеленоватая гладь, распоротая форштевнем корабля, вновь смыкалась, обметывая шов белыми нитками-барашками. Лучи солнца так разогрели океан, что даже летучие рыбы ушли куда-то вглубь, искать прохлады.

«Визе» возвращался домой.

Тропики! Волшебный сон в полярную ночь, рожденный пламенной фантазией, сказка – и наяву!

Когда проходили экватор, разгуливать босиком по раскаленной верхней палубе никто не решался. Изнеженные унтами ступни ног не выносили такого жара, и люди, подбираясь к бассейну, смешно подпрыгивали и по-детски смеялись. Бассейн, сооруженный из обшитых брезентом досок, был небольшой, пять на пять метров, и вода в нем, взятая у океана, все-таки чуточку охлаждала распаренные тела и давала возможность еще немножко поваляться на солнце. За неделю отбеленные зимовкой люди загорели до шоколадного цвета, а иные получили серьезные ожоги.

– Хуже детей! – сокрушался судовой врач. – Ребятню хоть можно выгнать с пляжа, а этих ничем не проймешь!

Полярники сочувственно слушали призывы врача, мудро напоминали друг другу о вреде солнечной радиации и, наскоро позавтракав, бежали с подстилками на верхнюю палубу – занимать лучшие места. И старпом делал вид, что не замечает цыганского табора на палубе, потому что знал, что перевоспитать таких пассажиров невозможно: слишком долго и иступленно тосковали они по солнцу. Время от времени старпом приказывал боцману поливать из шланга, «невзирая на лица», и этим ограничивался.

Антарктида осталась далеко позади, и ничто не напоминало о ней в этих благословенных широтах, где вода шелковиста на ощупь, а воздух соткан из солнечных лучей. Ледовый материк и друзья, зимовавшие на нем, находились где-то в другом измерении, в другом мире. Конечно, пассажиры «Визе» постоянно вспоминали о них, весело поздравляли с праздниками и днями рождения, но настоящие воспоминания и белые сны придут потом, когда будут пережиты первые радости встречи и начнутся будни.

Возвращение, само по себе высшая награда для полярника, состоит из четырех этапов: посадка на корабль и превращение в беззаботного пассажира, недели две тропического солнца, два-три дня стоянки в порту, где можно ступить ногой на землю, вдохнуть аромат зелени, купить подарки и увидеть живых женщин, и – встреча на причале.

У каждого был свой счет. Одни вели его от того дня, когда «Визе» покинул Мирный, другие – от последнего айсберга, третьи – от перехода экватора, а четвертые, самые мудрые, берегли свои эмоции до Канарских островов. Вот растают они за кормой, тогда и зачеркивай в календаре десять клеточек. Раньше чего считать, только нервы дергать.

Но в тропиках вместо двух недель пробыли целых шесть: на подходе к Канарским островам вышел из строя винт, чуть не месяц проболтались на ремонте в Лас-Пальмасе. Так домой хотелось, что и солнце осточертело, и лучшие в мире пляжи (согласно рекламе), и волоокские смуглые красавицы (хотя и не реклама, но и не объективная реальность, данная нам в ощущении). Были бы крылья, так бы и улетел домой из этого курортного рая в свой промозглый, с вьюгой март-апрель.

Эти приплюсованные к дороге четыре недели многих подкосили. Ибо возвращение полярника домой не только сплошной праздник, это еще и сильная психологическая встряска, сопровождающая любую разрядку. Бывает, что отзимовавшие полярники, главным образом первачки, не выдерживают гнета ожидания, впадают в черную меланхолию; одному мнится, что

от него что-то скрывают, другому распоясывает большое воображение запоздавшая весточка из дому. Морское путешествие кажется бесконечным.

Не находил себе покоя и Синицын.

* * *

Угрызения совести, терзавшие Синицына первые дни, по мере удаления от Антарктиды ослабевали. Он загорал, купался, играл в шахматы и резался в козла, смотрел кино, спал сколько хотел и понемногу забывал о том, что поначалу мучило его. События, еще совсем недавно заполнявшие всю его жизнь, виделись издалека мелкими и незначительными. В кают-компании он сидел на почетном месте – что ни говори, а начальник двух трансантарктических походов, о его ссоре с Гавриловым никто не вспоминал: мало ли из-за чего люди не разговаривают, когда сплошные нелады.

К тому же с Антарктидой Синицын твердо решил кончать: и годы не те, чтобы со здоровьем не считаться, и деньги не такие уж большие, чтобы подвергать себя столь чувствительным лишениям, – он и на Большой земле может иметь не меньше. А раз с полярной покончено, то перевернута страничка и забыта.

Но когда «Визе» надолго застрял в Лас-Пальмасе и день за днем стали тянуться в мучительной праздности, Синицын вдруг понял, что сам себя обманывал, рано перевернул страничку.

И все дело было в этих приплюсованных четырех неделях.

Не тем они угнетали Синицына, что продлили и без того постылую дорогу, не тем, что с каждой ночью Даша все больше спать мешала, и не другими фантазиями, истерзавшими многих первачков, – он, как всякий старый полярник, умел ждать с достоинством. Угнетали его эти четыре недели потому, что развеялась надежда вернуться домой до прихода Гаврилова на Восток.

Синицын знал, что сильные морозы начнутся там в марте и только тогда станет ясно, очень или не очень плохо придется Гаврилову. В глубине души Синицын надеялся, что за шестьдесят морозы не перехлестнут и Гаврилов не заметит, что идет на слабо разведенном солёном. Ну а если даже и заметит, то матюгнется, облегчит душу и шума большого поднимать не станет. А если даже и поднимет, то он, Синицын, в это время будет уже дома. В самом крайнем случае позвонит из Ленинграда бывшее полярное начальство, проинформируешь его и повесишь трубку.

Думал, что в марте будет в Москве, а оказался в Лас-Пальмасе, на корабле, рация которого принимала ежедневные диспетчерские сводки из Мирного.

В них ничего не говорилось о его, Синицына, проступке и вообще не упоминалось его имя, в них протокольно отмечалось, что морозы на Востоке такие-то и что поезд Гаврилова на пути к Мирному прошел за сутки столько-то километров.

Но между строк Синицын читал другое.

Вчера в районе Востока было минус шестьдесят пять, а поезд прошел двенадцать километров. Сегодня – минус шестьдесят шесть, а поезд стоит, движения вперед нет.

Проклятия по своему адресу читал между строк Синицын!

Днем он по-прежнему загорал, купался, играл во всякие игры, и часы пролетали незаметно. Но когда ложился в постель и оказывался наедине со своими мыслями, время останавливалось. От снотворного пришлось отказаться, после него весь день ломило голову и подташнивало, а другие средства – многокилометровые прогулки по Лас-Пальмасу и вечерние по палубе, теплая ванная в медпункте перед сном – не помогали. Спал Синицын мало и плохо, от постоянного недосыпания стал вялым и раздражительным, и даже старые приятели избегали с ним общаться. Поначалу, заметив, что он не в себе, пытались вызвать его на откровенность

и даже прямо спрашивали, что с ним стряслось, а потом перестали: не принято у полярников назойливо лезть приятелю в душу.

Никогда раньше Сеницын столько не копался в себе. Перебирая свою жизнь, вспоминал о случаях, когда легко и безнаказанно халтурил, втирал очки. Не хватало запчастей, списывал, бывало, ради двух-трех подшипников почти новую машину, сдавал на бумаге несуществующий котлован, оборудование, которого не было и в помине, выкручивался как мог...

Но раз человек сам себе судья, успокаивал себя, то он сам себе и адвокат. У правды две стороны, и если уж казнить за плохое, то нечего замазывать и хорошее.

Ведь в сорок втором он, не пойдя со своим взводом на высоту, никого особенно и не подвел. Не случись с ним солнечного удара (а с годами Сеницын твердо уверовал в то, что у него был не просто обморок, а именно солнечный удар), погиб бы на высоте, уложив в лучшем случае двух-трех фашистов. А он остался в живых и к концу войны имел на своем счету верных два десятка, а то и больше. Правда, двое-трое, им тогда не подстреленные, тоже, верно, не сидели сложа руки, но общий счет все равно в его пользу, в этом Сеницын не сомневался. Так что историю с высотой раз и навсегда нужно со своей совести снять.

Приписки на стройках и прочее подобное его не смущало. В тюменских лесах механик-водитель меньше чем за двадцатку в день работать не станет, так что хоть разбейся, а эти деньги ему дай, да и про свою прогрессивку Сеницын никогда не забывал. Экономистом в отряде работала девчонка, только-только из института, глаза голубые, жизнь по кино изучила. Два дня в один конец до поселковой почты добиралась, чтобы начальнику стройки позвонить, разоблачить Сеницына, у которого в отряде «мертвых душ» больше, чем живых. Начальник поставил Сеницыну на вид, а девчонку перевел поближе к цивилизации, чтобы не мешала «Чичикову» тянуть дорогу. И дорогу он протянул!

Технику, что на ладан дышала, сдавал сменщикам за хорошую? Верно, было такое, и не раз. А какую ему сдавали? Ты мне – дерьмо, а я тебе – цветок?

Много сомнительных ситуаций перебрал Сеницын и ни за одну себя не осудил – оправдался. Ворочая на стройках солидной техникой, он привык к тому, что и приписки, и погубленная техника, и высокая себестоимость – все ему прощалось за умение работать в суровых условиях, держать в руках капризных, сознающих свою необходимость механиков-водителей.

Но одно дело – большая таежная стройка, и совсем другое – антарктическая экспедиция с ее считанными по пальцам машинами. Сеницын знал, что в экспедиции нужно перестраиваться, что законы зимовки неумолимы – нет мелочей в Антарктиде! – знал, но ничего не мог с собой поделаться, потому что чувство ответственности человек лелеет, воспитывает в себе годами, пока оно не проникнет в плоть и в кровь, а уж если это не произошло, то никакие приказы и взбучки человека не изменят: где-нибудь да сорвется.

И Сеницын понимал, что на этот раз он сорвался, и, как ни искал, в истории с Гавриловым не нашел себе оправдания.

В один из дней, когда «Визе» стоял на ремонте, Сеницын, достал из чемодана потертую карту которая дважды сопровождала его в походах по маршруту Мирный – Восток – Мирный. Он помнил ее наизусть и мысленно мог себе представить любую точку «проклятой богом дороги», как ругали ее водители в тяжелую минуту. За эту карту один любитель подобных реликвий предлагал как-то Сеницыну транзисторный магнитофон с десятком кассет в придачу, но он, хоть и не был человеком романтического склада, расставаться с ней не желал. Унты, каэшку, резиновые сапоги с воздушной прокладкой – все готов бы отдать, а карту берег, потому что напоминала она ему о самых трудных и славных месяцах его жизни. Карта была испещрена надписями, пометками, бесценными для тех, кто в них разбирался: «Зона трещин», «Пионерская в пяти километрах справа от вех», «Снег рыхлый, глубина колеи до шестидесяти сантиметров», «Отсюда – развернутым фронтом» и прочее.

Синицын разложил карту на столике в каюте и обвел карандашом надпись: «Зона сыпучего снега».

Здесь был сейчас поезд Гаврилова.

Когда Синицын в последний раз, три года назад, проходил эту зону, морозы достигали пятидесяти пяти градусов, да еще с ветерком. Наглопались холода ребята, как никогда раньше. И Синицын отчетливо помнил, как радовался он тогда, что у него в достаточной пропорции разбавлена солярка. Береженого бог бережет: двигатели работали бесперебойно, и пятьсот километров от Востока до Комсомольской поезд лихо пробежал за десять дней.

Гаврилов же за две недели прошел километров двести и с каждым днем ползет все медленнее. Вчера он стоял.

Синицын немигающим взглядом уставился в карту.

Много он в своей жизни халтурил, врал на бумаге и в деле, но никому еще это вранье и халтура не стоили жизни. Неприятности всякие были, но у кого их не бывает? Убытки можно покрыть, бумажный котлован вырыть, выговор снять. Все поправимо, кроме смерти.

Погибнут, подумал Синицын, как пить дать погибнут, не выйти им из таких холодов на киселе.

И он в этом виноват! Ведь вспомнил же, что не подготовил топливо, вспомнил, а не послал радиogramму, не остановил, не вернул Гаврилова в Мирный!

Синицын впился пальцами в затылок. «Кто бы мог подумать, что будут такие морозы?!» – робко вопрошал адвокат, но судья уже не слышал его...

– Виновен!

«Хорошо бы оказаться там, вместе с ними, погибнуть вместе. Проклятый винт, из-за него!.. Узнают, все узнают!» – и другие столь же безотрадные и бесполезные мысли.

Проклятый винт! Нашел место и время ломаться... Уже две с лишним недели назад он, Синицын, мог быть дома. Нет, не дома, там телефон; посадил бы Дашу в машину и рванул бы куда глаза глядят, чтоб ни одна душа не знала, где он и когда вернется...

А по «Визе» уже поползли слухи о том, что Синицын чем-то сильно подвел Гаврилова. Толком никто ничего не знал. Одни говорили: «Нечего валить на Федора, за все годы такого припая такой разгрузки не было...» Другие: «Чем он раньше думал, до прихода кораблей?»

Больше других знали синицынские ребята, но они держали язык за зубами, догадываясь, что в большой мере разделяют вину своего начальника. Воскобойников, правда, проболтался, что не сменил на старых тягачах прокладки выхлопных труб. Сварщик Приходько на вопрос Синицына, не забыл ли он в новых тягачах выжечь отверстия для стока воды, удивленно ответил: «А хйба мне кто приказывал?» Но главное – топливо. Про него и ребята не знали, никому в голову не приходило, что их начальник не предупредил Гаврилова о столь важном обстоятельстве.

Накануне выхода «Визе» в море Синицын заглянул в радиорубку, спросил, нет ли чего-нибудь для него. Спросил – и сразу пожалел об этом: уж очень странно, недоброжелательно посмотрел на него вахтенный радист Пирогов, старый товарищ, с которым Синицын дважды зимовал в Мирном.

– Ничего, – буркнул Пирогов и демонстративно надел наушники.

– Не с той ноги встал? – обиделся Синицын.

– Сказал бы я тебе... – пробормотал Пирогов, отворачиваясь.

Синицын прирос ногами к полу.

– Что-нибудь... с походом?

– Мотай отсюда, не видишь, что ли: «Посторонним вход воспрещен»? – окрысился Пирогов.

– Живы? – только и спросил Синицын.

– Живы, живы, мотай!

В Лас-Пальмесе Сеницын купил фирменную бутылку коньяка с золотистой, на полбутылки, этикеткой – приятелей угостить, которые догадаются встретить. Но после разговора с Пироговым заперся в каюте, откупорил бутылку и напился – без закуски, вдрызг. Проспал, как убитый, часов двенадцать, опохмелился оставшимся полстаканом, привел себя в порядок и отправился завтракать.

Когда подошел к столу, все замолчали. Только Женя Мальков, сосед по каюте, принужденно пошутил насчет храпа, которым донимал его всю ночь Сеницын. Шутку не приняли, завтрак не ели, а проглатывали, поднимались и уходили. С других столов доносилось: «Может, им лучше на Восток вернуться?.. На таком киселе и до Востока не дотянешь... А у американцев самолеты еще летают?.. Вряд ли, в семьдесят градусов лететь дураков нет...»

Семьдесят градусов!

Сеницын бросил недоеденный бутерброд, поднялся. Со всех сторон на него смотрели чужие, осуждающие глаза. Сжал зубы, обвел взглядом бывших товарищей, быстро вышел из кают-компании.

А вослед понеслось, впилось между лопаток:

– Плевако!

Ночь нарушенных инструкций

Перед самым выходом с Комсомольской, осмотрев напоследок траки, Ленька заметил, что головка одного пальца чуть вылезла. Товарищи уже разошлись по машинам, и Ленька, воровато оглянувшись, вбил головку обратно – уж очень не хотелось ему сейчас махать кувалдой и ложиться на снег. Часов пять разогревали двигатели, перемазались, устали как черти... «А, бог не выдаст, свинья не съест, на первой же остановке сменю», – подумал Ленька.

Как на грех, шли километр за километром без остановок, исключительно удачно шли, ни разу еще в этом походе такого не бывало. Радоваться бы, а Ленька совершенно истерзался, потому что мерещилась ему распустившаяся змеей гусеница, длительный ремонт и бешеный взгляд Гаврилова. На двадцать пятом километре остановил тягач, вышел и убедился, что сделал это на редкость своевременно: головка пальца держалась на честном слове, минута-другая – и поползла бы змея. Благословляя свою удачу, Ленька быстро вышиб сломанный палец, вбил новый, зашпильковал, вылез из-под тягача и замер от нехорошего предчувствия.

Гаврилова не было видно! Может, проскочил мимо? Нет, колея одна, и на ней стоит его, Ленькин, тягач. То, что Никитин не просматривается, это понятно: он уже далеко, где его увидишь в такую погоду. А почему нет дяди Вани? На мгновение Ленька заколебался: может, догнать поезд, взять с собой напарника, но вспомнил, что батин тягач без балка, и, не раздумывая больше, развернулся и понесся назад на третьей передаче.

Так механик-водитель Савостиков за несколько часов нарушил сразу три заповеди: двинулся в путь с поврежденным траком, в одиночку погнал тягач по Антарктиде и, не получив на то разрешения, вел машину на третьей передаче.

– Не будь ты такой здоровый, – сказал потом Игнат, – я бы тебе за первое нарушение набил бы морду. А за второе и третье дай я тебя, друг, поцелую.

Вслед за Игнатом Леньку хлопали по плечу и обнимали остальные ребята, а он счастливо улыбался, понимая, что именно с этой минуты окончательно принят в их среду. И глаза его увлажнились, второй раз за три проклятые недели, но тогда Ленькиного позора никто не видел, а сейчас эта немужская слабость никого не удивила, потому что из спального мешка, в котором лежал батя, доносился богатырский храп.

Выжил батя! Покоиться бы ему сейчас замороженной мумией на хозсаях, опоздай племяш на несколько минут. Но Ленька не опоздал. Он до сих пор не мог понять, как это у него не лопнуло сердце, когда он выволок из кабины шестипудовое тело Гаврилова и тащил к своему тягачу. Сам чуть сознание не потерял. Растормошил, растер его и, полуживого, довез до «Харьковчанки», которая неслась навстречу, а там уж Алексей промассировал батю со спиртом, заставил выпить стаканчик и с помощью ребят засунул в спальный мешок. Спать батя ругался, не хотел залезать в мешок и даже двинул кулачищем Бориса Маслова в челюсть, но потом присмирел и быстро уснул.

И тогда наступила разрядка. У кого что болело и ныло – все забылось, все беды отступили перед лицом предотвращенной беды. Спирта у Антонова было мало, всего литров шесть, Гаврилов категорически запретил расходовать без крайней надобности, однако сейчас были особые обстоятельства. Алексей вытащил канистру и мензуркой отмерил каждому по сто граммов. Выпили за батино здоровье и Ленькину удачу, закусили остывшими бифштексами и не разошлись, остались сидеть в салоне «Харьковчанки» – пятеро за столиком, остальные на двухъярусных нарах. Ревел на малых оборотах, нагнетая тепло в салон, мотор «Харьковчанки», но привычные к грохоту уши походников вылавливали из него слова, как радисты морзянку из беспокойного эфира.

Разомлели в тепле, отвели в разговоре душу. Вспомнили Анатолия Щеглова, который в десяти километрах от Мирного перед самым возвращением домой – «Обь» уже стояла у

барьера! – провалился на тягаче в ледниковую трещину и упокоился в ней, избежав тлена: вечно молодой в извечном холоде. Вспомнили Ивана Хмару и Колю Рощина, всех других товарищей, которые навсегда остались в Антарктиде, и опять нарушили – по двадцать пять граммов выпили. И тут же в третий раз: каждый выкурил не положенную половинку, а целую сигарету. Только в салоне доктор никому курить не позволил, выгонял в кабину.

Отошли, стряхнули заботы. Посмеялись над Борисом, у которого щека под бородой набухла так, что он не говорил, а невнятно мычал, еще раз поудивлялись Ленькиной силище – на куполе и втроем сто килограммов поднять – рекорд, а он один! С уважением пощупали железные Ленькины бицепсы и пришли к выводу, что из полярников только сам батя имеет такие.

Гаврилов храпел, беспокойно ворочаясь во сне.

– Помнишь, как генерал о нем рассказывал? – спросил Валеру Игнат.

– После чая? – подмигнул Валера.

Давид рассмеялся.

– Брось трепаться, – недовольно проворчал Игнат.

– А что там был за чай? – профессионально поинтересовался Петя Задирако.

– После того как батя выступил в нашей части с лекцией, – охотно начал Валера, не обращая внимания на протесты Игната, – мы все трое подали рапорт насчет характеристики и попали к самому генералу. Усадил он нас, велел принести чай, стал спрашивать о том и о сем и вдруг как гаркнет: «Ты что меня грабишь, шельмец?» Оказалось, Игнат со страха шесть кусков сахара в стакан положил и потянулся за седьмым.

– Четыре и за пятым, – возразил Игнат.

– А Игнат, – со смаком продолжал Валера, – вскочил и диким голосом заорал: «Разрешите обратиться, товарищ генерал! Это я от волнения, товарищ генерал! Я вообще, если хотите, могу пить несладкий, товарищ генерал!»

– Врешь! – схватился за голову Игнат.

– Слово в слово! – простонал Давид.

– И нам так рассказывали! – подхватил Тошка. – Весь полк ржал. Только я не знал, что это про тебя!

– Ты вообще помолчи, пацан! – набросился на него Игнат. – Ты тогда еще арифметику в школе учил!

– Мы люди маленькие, мы можем и помолчать, – с деланной обидой ответил Тошка. – Только правду не скроешь, она пробьет себе дорогу через разные там несправедливости и случайности, как луч солнца пробивается через зловещую тьму. Каково?

– Поэт! – ахнул Алексей. – Шота Руставели!

– Рассказывай дальше, – напомнил Ленька.

– Про дело рассказывай, – сердито потребовал Игнат. – А то понес чепуху, уши вянут.

– Ладно, – ухмыльнулся Валера, – перехожу к Давиду. Чтобы показать, что он тоже не лыком шит, Давид вытащил из кармана пачку «Памира», осыпав при этом стол трухой, и протянул генералу: закуривай, мол, братишка, не стесняйся, здесь все свои. Генерал крякнул и в свою очередь предложил «Казбек»; Давид тут же сунул «Памир» обратно в штаны, радостно запустил лапу в генеральскую пачку, вытащил три папиросы и раздал нам. Потом уселся поудобнее в кресле, закурил и брякнул, что генерал, наверное, много знает о Гаврилове, а у него, Давида, как раз имеется час-другой свободного времени, чтобы послушать, – примерно в этом роде. И генерал вместо того, чтобы приказать нахалу выдраить танк вне очереди, вдруг начал рассказывать... Давид, у тебя память, как у магнитофона, воспроизведи.

– Слушайте и мотайте на ус! – начал Давид, подражая, видимо, начальственному бариону генерала. – Я тогда командовал бригадой, и Ваня Гаврилов был самым лихим моим танкистом, я ему и рекомендацию в партию давал. Понятно? Без всяких «так точно!», молчать,

когда начальство говорит! А ты клади седьмой кусок и закрой рот, я не дантист и не собираюсь проверять твои зубы. В конце сорок второго, когда Манштейн пошел на Сталинград выручать Паулюса, что, как известно, закончилось для Манштейна хорошей трепкой, Ваня отколол такую штуку. На ничейной земле стояла подбитая «тридцатьчетверка». Немцы к ней привыкли и внимания на нее не обращали. А Ваня в тот день был безлошадным – отправил свой покалеченный танк в ремонт. Насел на нас, уговорил и ночью вместе с двумя своими шельмецами забрался в ту «тридцатьчетверку». Утром, когда немцы пошли в атаку, он пропустил их танки мимо и шквальным огнем уложил полроты автоматчиков. Немцы, конечно, опомнились и разнесли «тридцатьчетверку» в пух и прах, но Ваня и это предусмотрел, отлеживался с ребятами в заранее вырытом окопчике. Как и было договорено, мы тут же перешли в контратаку и не дали немцам проутюжить эту троицу... А в другой раз, летом сорок третьего, устроил Гаврилов такой переполох, что помощник по разведке чуть не рехнулся, прибежал ко мне, докладывает: «тигры» у немцев бьют по своим! Я ему – поди проспись, а он: «Товарищ генерал, сам с колокольни в бинокль видел: бьют по своим!» Я бегом на колокольню – в самом деле, несутся к Дубровке, где мы стояли, два взбесившихся «тигра», ведя огонь из пушек и пулеметов. Приказываю не стрелять, жду, а у самого голова кругом идет – надежда появилась. Дело в том, что несколько дней назад в ходе наступления Гаврилов с тремя танками проскочил вперед, а бригада застряла: комкор приказал подтянуть тылы, иначе мы рисковали остаться без горючего и боеприпасов. Проходит день, другой – нет комбата. Ну, думаю, прощай, друг, товарищ Гаврилов! Но, как выяснилось, поторопился. Танки Ваня действительно потерял, вернее, оставил и замаскировал в лесу, кончилось горючее, и по ночам пехом пробирался к линии фронта. И вот набрел на два немецких танка: стояли у опушки леса на берегу пруда, а экипажи принимали водные процедуры. Экипажи – в рай, а сами – на «тигров». Славно прошлись километров пять по немецкому тылу и вернулись в бригаду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.